

ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ



ОСКАР УАЙЛЬД

Оскар Уайльд

Портрет Дориана Грея

«Автор»

2026

Уайльд О.

Портрет Дориана Грея / О. Уайльд — «Автор», 2026

Знаменитый роман Оскара Уайльда в новом переводе Аудиотеатра Демидова. Юный красавец Дориан Грей загадывает желание: пусть стареет не он, а его портрет. Желание сбывается — и каждый порок оставляет след на холсте, спрятанном на чердаке. Роман о красоте, соблазне и цене вечной молодости.

© Уайльд О., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Содержание	5
Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея	6
ПРЕДИСЛОВИЕ	7
Глава первая	8
Глава вторая	15
Глава третья	24
Глава четвёртая	31
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Оскар Уайльд Портрет Дориана Грея

Содержание

Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвёртая

Глава пятая

Глава шестая

Глава седьмая

Глава восьмая

Глава девятая

Глава десятая

Глава одиннадцатая

Глава двенадцатая

Глава тринадцатая

Глава четырнадцатая

Глава пятнадцатая

Глава шестнадцатая

Глава семнадцатая

Глава восемнадцатая

Глава девятнадцатая

Глава двадцатая

Слушайте в Аудиотеатре Демидова

Cover

Table of Contents

Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея

Оскар Уайльд

Портрет Дориана Грея

Перевод: Аудиотеатр Демидова, 2026

ПРЕДИСЛОВИЕ

Художник создаёт прекрасное. Явить искусство и скрыть художника — вот цель искусства. Критик умеет передать своё впечатление от прекрасного иным способом или воплотить его в новом материале.

И высшая, и низшая формы критики — разновидности автобиографии. Те, кто находит в прекрасном безобразный смысл, испорчены и при этом лишены обаяния. Это изъян.

Те, кто находит в прекрасном прекрасный смысл, — культурные люди. Для них есть надежда. Они — избранные, для которых прекрасное означает только красоту.

Не бывает книг нравственных или безнравственных. Книги бывают хорошо или дурно написаны. Вот и всё.

Неприязнь девятнадцатого века к реализму — это ярость Калибана, увидевшего в зеркале собственное лицо.

Неприязнь девятнадцатого века к романтизму — это ярость Калибана, не увидевшего в зеркале собственного лица. Нравственная жизнь человека входит в круг тем художника, но нравственность искусства заключается в безупречном обращении с несовершенным средством. Ни один художник не стремится что-либо доказать. Доказать можно даже то, что истинно. Ни одному художнику не свойственны нравственные пристрастия. Нравственное пристрастие у художника — непростительная манерность стиля. Художнику чужда болезненность. Художник способен выразить всё. Мысль и язык служат ему орудиями искусства. Порок и добродетель служат ему материалом для искусства. Если говорить о форме, образец всех искусств — музыка. Если говорить о чувстве, образец — актёрское мастерство. Всякое искусство одновременно и поверхность, и символ. Кто проникает под поверхность, рискует. Кто толкует символ, тоже рискует. На самом деле искусство отражает зрителя, а не жизнь. Разногласия в оценке произведения искусства показывают, что оно ново, сложно и полно жизни. Когда критики не согласны друг с другом, художник пребывает в согласии с собой. Человеку можно простить создание полезной вещи, если он ею не восхищается. Лишь горячее восхищение бесполезной вещью может оправдать её создание.

Всякое искусство совершенно бесполезно.

ОСКАР УАЙЛЬД

Глава первая

Мастерскую наполнял густой аромат роз. Когда лёгкий летний ветер шевелил деревья в саду, сквозь открытую дверь доносился тяжёлый запах сирени или более тонкое благоухание боярышника, цветущего розовым.

Лорд Генри Уоттон лежал в углу дивана, покрытого персидскими седельными сумками и, по своему обыкновению, курил сигарету за сигаретой. Отсюда он едва различал цветы бобовника — сладкие, словно мёд, и медового цвета. Казалось, дрожащим ветвям не под силу вынести бремя их огненной красоты. Время от времени по длинным занавесям из шёлка тусса, натянутым перед огромным окном, проносились причудливые тени летящих птиц. На миг возникало подобие японской картины, и лорд Генри вспоминал бледных токийских живописцев с лицами цвета нефрита: средствами искусства, по природе своей неподвижного, они стремились передать стремительность движения. Глухое жужжание пчёл, пробиравшихся сквозь высокую нескошенную траву или с монотонным упорством круживших вокруг запылённых позолоченных рожков разросшейся жимолости, словно делало тишину ещё тягостнее. Смутный гул Лондона напоминал низкую ноту далёкого органа.

Посреди комнаты на мольберте стоял закреплённый зажимами портрет необыкновенно красивого юноши в полный рост. Чуть поодаль сидел сам художник, Бэзил Холлуорд. Несколько годами прежде его внезапное исчезновение взбудоражило публику и породило множество странных догадок.

Глядя на изящную, прекрасную фигуру, которую ему удалось с таким мастерством запечатлеть, художник улыбнулся; казалось, улыбка вот-вот задержится на его лице. Но вдруг он вскочил, закрыл глаза и прижал пальцы к векам, будто хотел удержать в памяти необыкновенный сон, от которого боялся пробудиться.

— Это твоя лучшая работа, Бэзил, лучшее из всего, что ты когда-либо создал, — лениво произнёс лорд Генри. — В следующем году непременно пошли её в галерею Гросвенор. Академия слишком велика и слишком вульгарна. Всякий раз, когда я туда приходил, там бывало либо столько людей, что я не мог разглядеть картины, — и это было ужасно, — либо столько картин, что я не мог разглядеть людей, — и это было ещё хуже. Галерея Гросвенор — единственное подходящее место.

— Не думаю, что куда-нибудь её пошлю, — ответил Бэзил и откинул голову тем странным движением, над которым ещё в Оксфорде смеялись его друзья. — Нет, никуда не пошлю.

Лорд Генри поднял брови и изумлённо взглянул на него сквозь тонкие голубые кольца дыма, прихотливо вившиеся от толстой сигареты с примесью опия. — Никуда не пошлешь? Дорогой мой, почему? У тебя есть причина? Что за странные люди вы, художники! Вы готовы на всё ради славы, а едва добьётесь её — уже хотите от неё избавиться. Глупо с твоей стороны: хуже, чем быть у всех на устах, только одно — когда о тебе вовсе не говорят. Такой портрет возвысил бы тебя над всеми молодыми людьми Англии и вызвал бы зависть у стариков — если старики вообще способны что-нибудь чувствовать.

— Я знаю, ты будешь смеяться, — ответил Бэзил, — но я и вправду не могу выставить портрет. Я вложил в него слишком много самого себя.

Лорд Генри растянулся на диване и рассмеялся.

— Я так и знал, что ты засмеёшься. Но это всё-таки правда.

— Слишком много самого себя! Честное слово, Бэзил, я и не подозревал, что ты так тщеславен. Между тобой — с твоим суровым, сильным лицом и волосами чёрными, как уголь, — и этим юным Адонисом, будто созданным из слоновой кости и розовых лепестков, я не вижу решительно никакого сходства. Да ведь он, дорогой Бэзил, настоящий Нарцисс, а ты... разумеется, у тебя умное лицо и всё такое. Но красота, подлинная красота, кончается там, где

появляется выражение ума. Ум сам по себе склонен всё преувеличивать и нарушает гармонию любого лица. Стоит человеку задуматься, и он превращается в один сплошной нос, или лоб, или ещё во что-нибудь столь же безобразное. Взгляни на тех, кто преуспел в учёных профессиях. Как они все уродливы! Кроме, конечно, священнослужителей. Но священнослужители и не думают. В восемьдесят лет епископ повторяет то, что ему велели говорить в восемнадцать, и потому всегда выглядит восхитительно. Твой таинственный юный друг, чьего имени ты мне ни разу не назвал и чей портрет меня очаровал, никогда не думает. В этом я совершенно уверен. Это прекрасное бездумное создание должно быть здесь всегда: зимой, когда нам не на какие цветы смотреть, и летом, когда хочется чем-нибудь остудить свой ум. Не обольщайся, Бэзил: ты ничуть на него не похож.

— Ты меня не понял, Гарри, — ответил художник. — Конечно, я на него не похож. Я это прекрасно знаю. И, по правде говоря, не хотел бы быть похожим. Ты пожимаешь плечами? Я говорю правду. Всякая незаурядность — внешняя или умственная — несёт в себе рок. Такой рок, кажется, на протяжении всей истории преследует неуверенные шаги королей. Лучше ничем не выделяться среди других. Уродливым и глупым живётся на свете лучше всех. Они могут сидеть себе спокойно и глазеть на представление. Пусть им неведома победа, зато неведомо и поражение. Они живут так, как следовало бы жить всем нам: без потрясений, равнодушно, без тревог. Они не губят других и сами не терпят краха по чужой вине. Твоё положение и богатство, Гарри; мой ум, каков он ни есть, моё искусство, чего бы оно ни стоило; красота Дориана Грея — все мы будем расплачиваться за дары богов, и расплата будет страшной.

— Дориан Грей? Так его зовут? — спросил лорд Генри, направляясь через мастерскую к Бэзилу Холлуорду.

— Да, его зовут Дориан Грей. Я не собирался тебе говорить.

— Но почему?

— О, я и сам не могу объяснить. Если кто-то мне очень дорог, я никому не называю его имени. Словно, назвав имя, я отдал бы другим частицу этого человека. Я полюбил тайны. Кажется, только они ещё способны сделать современную жизнь загадочной или чудесной. Даже самая обыкновенная вещь радует, стоит лишь сохранить её в секрете. Теперь, уезжая из города, я никогда не говорю домашним, куда направляюсь. Скажи я им — и вся радость пропала бы. Глупая привычка, пожалуй, но она каким-то образом привносит в жизнь столько романтики. Ты, наверное, считаешь меня ужасным глупцом?

— Нисколько, — ответил лорд Генри. — Нисколько, дорогой Бэзил. Ты, кажется, забыл, что я женат, а прелесть брака как раз в том, что он делает обман совершенно необходимым для обеих сторон. Я никогда не знаю, где моя жена, а она никогда не знает, чем я занят. Когда мы встречаемся — изредка это случается, если мы вместе обедаем вне дома или едем к герцогу, — мы с самыми серьёзными лицами рассказываем друг другу самые нелепые истории. У жены это получается превосходно, куда лучше, чем у меня. Она никогда не путается в датах, а я путаюсь постоянно. Но даже когда она ловит меня на лжи, скандала не бывает. Порой мне хочется, чтобы она его устроила, а она только смеётся надо мной.

— Терпеть не могу, как ты говоришь о своей супружеской жизни, Гарри, — сказал Бэзил Холлуорд, неторопливо направляясь к двери в сад. — Я уверен, что на самом деле ты превосходный муж, но ужасно стыдишься собственных добродетелей. Ты удивительный человек: никогда не высказываешь нравственных мыслей и никогда не делаешь ничего дурного. Весь твой цинизм — одна лишь поза.

— Быть естественным — тоже поза, и самая раздражающая из всех, какие я знаю! — воскликнул лорд Генри со смехом. Оба молодых человека вышли в сад и устроились на длинной бамбуковой скамье в тени высокого лаврового куста. Солнечный свет скользил по гладким листьям. В траве подрагивали белые маргаритки.

Помолчав, лорд Генри вынул часы. — Боюсь, мне пора, Бэзил, — проговорил он. — Но прежде чем уйти, я требую ответа на вопрос, который задал тебе некоторое время назад.

— Какой вопрос? — спросил художник, не отрывая взгляда от земли.

— Ты прекрасно знаешь.

— Нет, Гарри, не знаю.

— Тогда скажу. Почему ты неставляешь портрет Дориана Грея? Я хочу знать настоящую причину.

— Я уже назвал её.

— Нет. Ты сказал, что вложил в портрет слишком много себя. Но это же ребячество.

— Гарри, — сказал Бэзил Холлуорд, глядя ему прямо в лицо, — всякий портрет, написанный с чувством, изображает художника, а не того, кто ему позировал. Натурщик — лишь случайность, лишь повод. На холсте художник открывает не его, а самого себя. Я неставляю этот портрет потому, что боюсь: в нём я выдал тайну собственной души.

Лорд Генри рассмеялся. — И что же это за тайна? — спросил он.

— Я тебе расскажу, — сказал Холлуорд, но на лице его появилось растерянное выражение.

— Жду не дождусь, Бэзил, — заметил его собеседник, взглянув на него.

— Право, рассказывать почти нечего, Гарри, — ответил художник. — И боюсь, ты едва ли поймёшь меня. Быть может, даже не поверишь.

Лорд Генри улыбнулся, нагнулся и сорвал из травы маргаритку с розовыми лепестками. — Уверен, что пойму, — ответил он, внимательно разглядывая её маленькую золотистую серединку с белой пушистой каймой. — А поверить я могу во что угодно, лишь бы это было совершенно невероятно.

Ветер стряхнул с деревьев несколько цветков. Тяжёлые гроздья сирени, усыпанные крошечными звёздочками, закачались в сонном воздухе. У стены застрекотал кузнечик; мимо проплыла, словно синяя нить, длинная тонкая стрекоза на крыльях, похожих на бурую кисею. Лорду Генри казалось, будто он слышит, как бьётся сердце Бэзила Холлуорда. Он гадал, что тот скажет.

— Дело было так, — заговорил спустя некоторое время художник. — Два месяца назад я попал на приём к леди Брэндон, где было не протолкнуться. Ты ведь знаешь: нам, бедным художникам, приходится время от времени показываться в обществе, хотя бы затем, чтобы публика не забыла, что мы не дикари. Как ты однажды сказал, во фраке и белом галстуке кто угодно, даже биржевой маклер, может прослыть цивилизованным человеком. Так вот, я пробыл там минут десять, беседуя с грузными, разряженными вдовами и скучными академиками, когда вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Я вполоборота оглянулся и впервые увидел Дориана Грея. Когда наши глаза встретились, я почувствовал, что бледнею. Меня охватил странный страх. Я понял, что встретил человека, чья личность так завораживает, что, поддайся я её влиянию, она поглотила бы всё моё существо, всю мою душу, само моё искусство. Я не хотел никакого постороннего влияния в своей жизни. Ты сам знаешь, Гарри, как независим я по натуре. Я всегда был сам себе хозяином; во всяком случае, был им до встречи с Дорианом Греем. А потом... Впрочем, не знаю, как тебе это объяснить. Что-то словно подсказывало мне: я стою на пороге страшного перелома в жизни. Меня не покидало странное чувство, будто судьба готовит мне изысканные радости и столь же изысканные страдания. Я испугался и повернулся к выходу. Не совесть заставила меня уйти — скорее малодушие. Я вовсе не ставлю себе в заслугу эту попытку бегства.

— Совесть и малодушие, в сущности, одно и то же, Бэзил. Совесть — просто торговое название этой фирмы. Вот и всё.

— Не верю я этому, Гарри, и ты, по-моему, тоже не веришь. Как бы то ни было, что бы мной ни двигало — возможно, гордость, ведь прежде я был очень горд, — я всё-таки стал про-

бираться к двери. Там я, разумеется, наткнулся на леди Брэндон. «Вы ведь не собираетесь так скоро убежать, мистер Холлуорд?» — завизжала она. Ты знаешь, какой у неё странно пронзительный голос?

— Да. В ней всё павлинье, кроме красоты, — сказал лорд Генри, разрывая маргаритку длинными, беспокойными пальцами.

— Мне никак не удавалось от неё отделаться. Она подвела меня к особам королевской крови, к кавалерам орденов со звёздами и подвязками, к пожилым дамам в громадных диадемах и с попугайскими носами. Она называла меня своим дорогим другом. Прежде мы виделись всего один раз, но ей вздумалось носиться со мной как со знаменитостью. Кажется, какая-то моя картина тогда имела большой успех или, по крайней мере, о ней болтали в копеечных газетах, а это в девятнадцатом веке и есть мерило бессмертия. Вдруг передо мной оказался тот самый молодой человек, чья личность так странно меня взволновала. Мы стояли совсем рядом, почти касаясь друг друга. Наши взгляды снова встретились. С моей стороны было безрассудством попросить леди Брэндон представить меня ему. Хотя, быть может, никакого безрассудства тут и не было. Иначе просто не могло случиться. Мы заговорили бы друг с другом и без представления. Я в этом уверен. Дориан потом сам мне сказал, что тоже чувствовал: нам суждено познакомиться.

— И как же леди Брэндон описала этого удивительного молодого человека? — спросил его собеседник. — Она ведь любит с ходу давать краткую характеристику каждому гостю. Помню, она подвела меня к свирепому краснолицему старику, сплошь увешанному орденами и лентами, и стала шипеть мне на ухо поразительные подробности. Шёпот у неё был такой трагический, что его наверняка слышали во всех концах зала. Я попросту сбежал. Я предпочитаю узнавать людей сам. Но леди Брэндон обращается с гостями точь-в-точь как аукционист со своим товаром. Она либо так подробно их объясняет, что от человека уже ничего не остаётся, либо сообщает о них всё, кроме того, что хотелось бы узнать.

— Бедная леди Брэндон! Ты к ней несправедлив, Гарри, — вяло произнёс Холлуорд.

— Дорогой мой, она пыталась основать салон, а сумела лишь открыть ресторан. Как же мне ею восхищаться? Но скажи, что она говорила о мистере Дориане Грее?

— Что-то вроде: «Очаровательный мальчик... С его бедной милой матушкой мы были совершенно неразлучны. Совсем забыла, чем он занимается... боюсь, что он... ничем не занимается... ах да, играет на фортепиано... или всё-таки на скрипке, дорогой мистер Грей?» Мы оба не смогли удержаться от смеха и сразу подружились.

— Смех — совсем неплохое начало дружбы и, безусловно, лучший её конец, — сказал молодой лорд, срывая ещё одну маргаритку.

Холлуорд покачал головой. — Ты не понимаешь, что такое дружба, Гарри, — пробормотал он, — да и что такое вражда, если уж на то пошло. Тебе нравятся все; стало быть, тебе все безразличны.

— Как чудовищно несправедливо! — воскликнул лорд Генри. Он сдвинул шляпу на затылок и поднял глаза к маленьким облакам: они плыли по бирюзовой чаше летнего неба, словно спутанные мотки блестящего белого шёлка. — Да, чудовищно несправедливо. Я очень разборчив в людях. Друзей я выбираю за красоту, знакомых — за достойный нрав, а врагов — за острый ум. К выбору врагов нужно подходить с величайшей осторожностью. Среди моих нет ни одного глупца. Все они люди незаурядного ума и потому умеют меня оценить. Очень тщеславно с моей стороны? Пожалуй, довольно тщеславно.

— По-моему, да, Гарри. Но, судя по твоему делению, я для тебя всего лишь знакомый.

— Дорогой мой Бэзил, ты для меня гораздо больше, чем знакомый.

— И гораздо меньше, чем друг. Что-то вроде брата, полагаю?

— О, братья! Братьев я не жалею. Старший мой брат всё никак не умрёт, а младшие, кажется, только это и делают.

— Гарри! — воскликнул Холлуорд, нахмурившись.

— Дорогой мой, я не вполне серьёзен. Но ничего не могу поделать: родственников я терпеть не могу. Наверное, потому, что никому из нас невыносимо видеть собственные недостатки у других. Мне вполне понятна ярость английской демократии против того, что она называет пороками высших сословий. Народ считает, что пьянство, глупость и распущенность должны принадлежать только ему. Если кто-нибудь из нашего круга выставляет себя ослом, он словно браконьерствует в чужих угодьях. Когда бедняга Саутуарк угодил в суд по бракоразводным делам, народ негодовал просто великолепно. А между тем едва ли и десятая часть пролетариата живёт пристойно.

— Я не согласен ни с одним твоим словом. Более того, Гарри, уверен, что и ты сам с ними не согласен.

Лорд Генри погладил остроконечную каштановую бородку и постучал эбеновой тростью с кисточкой по носку лакированного ботинка. — Какой же ты англичанин, Бэзил! Ты уже во второй раз говоришь это. Стоит высказать настоящему англичанину мысль — а это всегда опрометчиво, — и ему даже не придёт в голову задуматься, верна она или нет. Для него важно лишь одно: верит ли в неё тот, кто её высказал. Между тем ценность мысли никак не связана с искренностью человека, который её выражает. Пожалуй, чем меньше в нём искренности, тем более отвлечённой будет мысль: тогда её не окрасят ни его нужды, ни желания, ни предрассудки. Впрочем, я не собираюсь обсуждать с тобой политику, социологию или метафизику. Людей я люблю больше, чем принципы, а людей без принципов — больше всего на свете. Расскажи лучше о мистере Дориане Грее. Часто ты его видишь?

— Каждый день. Если бы я не видел его ежедневно, я не мог бы быть счастлив. Он мне совершенно необходим.

— Как удивительно! Я думал, тебе никогда не будет дорого ничто, кроме твоего искусства.

— Теперь он для меня — всё моё искусство, — серьёзно сказал художник. — Порой мне кажется, Гарри, что в истории мира есть лишь две по-настоящему важные эпохи. Первая наступает с появлением нового средства художественного выражения, вторая — с появлением новой личности для искусства. Чем было изобретение масляной живописи для венецианцев, чем было лицо Антиноя для поздней греческой скульптуры, тем когда-нибудь станет для меня лицо Дориана Грея. И дело не только в том, что я пишу с него картины, рисую его, делаю с него наброски. Конечно, я делал всё это. Но он для меня гораздо больше, чем модель или человек, чей портрет я пишу. Я не скажу, что недоволен своими изображениями Дориана или что его красоту невозможно передать средствами искусства. Нет ничего, чего искусство не могло бы выразить, и я знаю: после встречи с Дорианом Греем я создаю хорошие работы, лучшие в моей жизни. Но каким-то странным образом — не знаю, поймёшь ли ты меня, — сама его личность подсказала мне совершенно новую манеру в искусстве, совершенно новый стиль. Я иначе вижу вещи, иначе о них думаю. Теперь я могу воссоздавать жизнь так, как прежде не умел. «Сон о форме в пору мыслей» — чьи это слова? Не помню; но для меня Дориан Грей стал именно этим. Одно лишь зримое присутствие этого юноши — для меня он почти мальчик, хотя ему уже за двадцать, — одно лишь его присутствие... Ах, можешь ли ты представить, что это значит? Сам того не зная, он намечает для меня очертания новой школы, в которой соединятся вся страсть романтического духа и всё совершенство духа греческого. Гармония души и тела — как много в ней заключено! Мы в своём безумии разлучили их и породили пошлый реализм и пустую идеальность. Гарри, если бы ты только знал, что значит для меня Дориан Грей! Помнишь мой пейзаж, за который Агнью предлагал мне огромные деньги, а я не захотел с ним расстаться? Это одна из лучших моих работ. И знаешь почему? Пока я его писал, Дориан Грей сидел рядом. От него ко мне словно перешло какое-то неуловимое влияние, и впервые в жизни я увидел в самом обычном лесу то чудо, которое всегда искал и никак не мог найти.

— Бэзил, это поразительно! Я должен увидеть Дориана Грея.

Холлуорд поднялся со скамьи и принялся ходить по саду. Спустя некоторое время он вернулся. — Гарри, — сказал он, — для меня Дориан Грей просто художественный мотив. Ты, возможно, ничего в нём не увидишь. Я вижу в нём всё. Сильнее всего его присутствие ощущается в моих работах тогда, когда его самого на них нет. Как я уже сказал, он подсказал мне новую манеру. Я нахожу его в изгибах некоторых линий, в красоте и тонкости некоторых цветов. Вот и всё.

— Тогда почему ты не хочешь выставить его портрет? — спросил лорд Генри.

— Потому что, сам того не желая, я выразил в нём это странное художественное идолопоклонство, о котором, разумеется, никогда не говорил Дориану. Он ничего не знает и никогда не узнает. Но люди могут догадаться, а я не хочу обнажать душу перед их поверхностными, любопытными взглядами. Я не отдам им своё сердце для разглядывания под микроскопом. В этой картине слишком много меня самого, Гарри, слишком много!

— Поэты не столь щепетильны, как ты. Они знают, как выгодно предавать страсть печати. В наши дни разбитое сердце переиздают множество раз.

— За это я их и ненавижу, — воскликнул Холлуорд. — Художник должен создавать прекрасное, но не вкладывать в свои творения ничего из собственной жизни. Мы живём в век, когда люди относятся к искусству так, словно оно предназначено для автобиографии. Мы утратили чувство отвлечённой красоты. Когда-нибудь я покажу миру, что это такое. И именно поэтому мир никогда не увидит моего портрета Дориана Грея.

— По-моему, ты ошибаешься, Бэзил, но спорить с тобой я не стану. Спорят лишь те, кто запутался в собственных мыслях. Скажи, Дориан Грей очень к тебе привязан?

Художник на несколько мгновений задумался. Помолчав, он ответил: — Я ему нравлюсь. Знаю, что нравлюсь. Конечно, я ужасно ему лышу. Мне доставляет странное удовольствие говорить ему то, о чём я, как знаю заранее, потом пожалею. Обычно он со мной очарователен: мы сидим в мастерской и говорим обо всём на свете. Но порой он ужасно не считается с моими чувствами и, кажется, получает настоящее удовольствие, причиняя мне боль. Тогда я чувствую, Гарри, что отдал всю душу человеку, который обращается с ней, как с цветком для петлицы: украсит себя на один летний день, потешит тщеславие — и всё.

— Летние дни, Бэзил, порой тянутся долго, — пробормотал лорд Генри. — Быть может, ты устанешь от него раньше, чем он от тебя. Печально об этом думать, но гений, несомненно, живёт дольше красоты. Вот почему мы все так стараемся набраться знаний сверх всякой меры. В беспощадной борьбе за существование нам хочется иметь что-нибудь долговечное, и мы набиваем голову вздором и фактами в глупой надежде удержать своё место. Человек, осведомлённый решительно обо всём, — вот современный идеал. А ум такого человека — ужасная вещь. Он похож на лавку старых безделушек: всюду чудища и пыль, а за каждую вещь просят больше, чем она стоит. И всё же, думаю, первым устанешь ты. Однажды ты взглянешь на друга, и тебе покажется, что в его облике чуть нарушились пропорции. Или тебе разонравится оттенок его лица. Или ещё что-нибудь. В душе ты горько упрекнёшь его и всерьёз решишь, что он обошёлся с тобой очень дурно. Когда он придёт в следующий раз, ты встретишь его холодно и равнодушно. Будет очень жаль: это тебя изменит. То, что ты мне рассказал, — настоящий роман. Роман из жизни искусства, можно сказать. А самое скверное в любом романе то, что после него человек становится совсем не романтичен.

— Гарри, не говори так. Пока я жив, личность Дориана Грея будет властвовать надо мной. Тебе не понять того, что чувствую я. Ты слишком часто меняешься.

— Ах, дорогой Бэзил, именно поэтому я и могу тебя понять. Верные знают лишь обыденную сторону любви; её трагедии ведомы неверным. — Лорд Генри чиркнул спичкой об изящный серебряный футляр и закурил сигарету с самодовольным видом человека, сознающего, какое впечатление произвели его слова, словно одной фразой он подвёл итог всему миру.

Воробьи чирикали и шелестели среди зелёных, будто покрытых лаком листьев плюща, а голубые тени облаков гонялись по траве друг за другом, точно ласточки. Как хорошо было в саду! И как восхитительны чужие чувства — куда восхитительнее чужих мыслей, казалось ему. Собственная душа и страсти друзей — вот что по-настоящему завораживало в жизни. Он с беззвучной усмешкой представил себе скучный второй завтрак, который пропустил, засидевшись у Бэзила Холлуорда. Пойди он к тётушке, там непременно оказался бы лорд Гудбоди, и весь разговор свёлся бы к тому, как кормить бедняков и зачем строить для них образцовые дома с дешёвым жильём. Каждое сословие проповедовало бы добродетели, без которых само прекрасно обходилось. Богачи рассуждали бы о пользе бережливости, а праздные люди — о достоинстве труда. Как славно, что он всего этого избежал! При мысли о тётушке его осенило. Он повернулся к Холлуорду и сказал: — Дорогой мой, я только что вспомнил.

— Что вспомнил, Гарри?

— Где я слышал имя Дориана Грея.

— Где же? — спросил Холлуорд, слегка нахмурившись.

— Не смотри так сердито, Бэзил. У моей тётушки, леди Агаты. Она сказала, что нашла замечательного молодого человека, который собирается помогать ей в Ист-Энде, и что зовут его Дориан Грей. Должен признать, о его красоте она ни словом не обмолвилась. Женщины не умеют ценить красивую внешность; во всяком случае, добродетельные женщины. Она сказала, что он очень серьёзен и у него прекрасная душа. Я тотчас вообразил себе существо в очках, с безжизненно свисающими волосами, сплошь покрытое веснушками и тяжело ступающее огромными ногами. Жаль, я не знал, что это твой друг.

— А я очень рад, что ты не знал, Гарри.

— Почему?

— Я не хочу, чтобы ты с ним знакомился.

— Ты не хочешь, чтобы я с ним знакомился?

— Нет.

— Мистер Дориан Грей в мастерской, сэр, — сказал дворецкий, выходя в сад.

— Теперь тебе придётся нас познакомить, — со смехом воскликнул лорд Генри.

Художник повернулся к слуге, который стоял, щурясь на солнце. — Попросите мистера Грея подождать, Паркер. Я войду через несколько минут. — Слуга поклонился и пошёл по дорожке к дому.

Тогда Холлуорд взглянул на лорда Генри. — Дориан Грей — мой самый близкий друг, — сказал он. — У него простая и прекрасная душа. Твоя тётушка верно о нём сказала. Не порть его. Не пытайся на него влиять. Твоё влияние будет дурным. Мир велик, и в нём немало удивительных людей. Не отнимай у меня единственного человека, которому моё искусство обязано всем своим очарованием: от него зависит моя жизнь как художника. Помни, Гарри, я тебе доверяю. — Он говорил очень медленно, словно слова вырывались у него почти против воли.

— Какой вздор ты говоришь! — сказал лорд Генри с улыбкой и, взяв Холлуорда под руку, почти увёл его в дом.

Глава вторая

Войдя в мастерскую, они увидели Дориана Грея. Он сидел за роялем спиной к ним и перелистывал страницы сборника «Лесные сцены» Шумана. — Бэзил, ты непременно должен одолжить мне эти ноты! — воскликнул он. — Я хочу разучить эти пьесы. Они просто прелесть.

— Всё зависит от того, как ты будешь сегодня позировать, Дориан.

— Ах, мне надоело позировать, да и портрет в натуральную величину мне ни к чему, — ответил юноша и с упрямым, капризным видом повернулся на рояльном стуле. Увидев лорда Генри, он слегка покраснел и тут же вскочил. — Прости, Бэзил, я не знал, что ты не один.

— Это лорд Генри Уоттон, Дориан, мой давний друг ещё по Оксфорду. Я только что рассказывал ему, какой ты превосходный натурщик, а теперь ты всё испортил.

— Зато вы ничуть не испортили мне удовольствия от знакомства с вами, мистер Грей, — сказал лорд Генри, шагнув вперёд и протянув руку. — Тётушка часто рассказывала мне о вас. Вы один из её любимцев и, боюсь, одна из её жертв.

— Сейчас я у леди Агаты в чёрном списке, — ответил Дориан с забавно виноватым видом. — В прошлый вторник я обещал пойти с ней в клуб в Уайтчепеле и совсем об этом забыл. Мы должны были сыграть вместе дуэт — кажется, даже три дуэта. Не знаю, что она мне скажет. Я так боюсь, что не решаюсь к ней зайти.

— О, я вас с тётушкой помирю. Она в вас души не чает. Да и вряд ли ваше отсутствие имело значение. Публика, должно быть, решила, что слышит дуэт. Когда тётя Агата садится за рояль, она шумит за двоих.

— Это ужасно нелюбезно по отношению к ней и не слишком лестно для меня, — ответил Дориан со смехом.

Лорд Генри взглянул на него. Да, он был удивительно красив: тонко очерченные алые губы, открытые голубые глаза, золотистые вьющиеся волосы. Что-то в его лице сразу внушало доверие. В нём были вся искренность юности и вся её страстная чистота. Казалось, мир ещё не успел его запятнать. Неудивительно, что Бэзил Холлуорд поклонялся ему.

— Вы слишком обаятельны, чтобы заниматься благотворительностью, мистер Грей. Слишком обаятельны. — Лорд Генри опустился на диван и открыл портсигар.

Художник всё это время смешивал краски и готовил кисти. Вид у него был озабоченный. Услышав последние слова лорда Генри, он взглянул на него, помедлил и сказал: — Гарри, я хочу сегодня закончить портрет. Ты сочтёшь меня ужасно невежливым, если я попрошу тебя уйти?

Лорд Генри улыбнулся и посмотрел на Дориана Грея. — Мне уйти, мистер Грей? — спросил он.

— О, пожалуйста, оставайтесь, лорд Генри. Я вижу, Бэзил сегодня не в духе, а когда он дуется, я его не выношу. К тому же я хочу услышать, почему мне не следует заниматься благотворительностью.

— Не знаю, стану ли я вам это объяснять, мистер Грей. Предмет так скучен, что о нём пришлось бы говорить серьёзно. Но теперь, когда вы попросили меня остаться, я, конечно, никуда не уйду. Ты ведь не возражаешь, Бэзил? Ты не раз говорил, что любишь, когда твоим натурщикам есть с кем поболтать.

Холлуорд закусил губу. — Если Дориан этого хочет, ты, разумеется, должен остаться. Прихоти Дориана — закон для всех, кроме него самого.

Лорд Генри взял шляпу и перчатки. — Ты очень настойчив, Бэзил, но, боюсь, мне всё-таки пора. Я обещал встретиться с одним человеком в «Орлеане». До свидания, мистер Грей. Заходите как-нибудь после полудня ко мне на Кёрзон-стрит. В пять часов я почти всегда дома. Напишите, когда соберётесь прийти. Мне было бы жаль разминуться с вами.

— Бэзил, — воскликнул Дориан Грей, — если лорд Генри Уоттон уйдёт, я тоже уйду. Пока ты пишешь, ты и рта не раскрываешь, а стоять на помосте и стараться выглядеть приветливо ужасно скучно. Попроси его остаться. Я настаиваю.

— Останься, Гарри, ради Дориана и ради меня, — сказал Холлуорд, пристально глядя на портрет. — Это правда: за работой я никогда не разговариваю и даже не слушаю. Моим несчастным натурщикам, должно быть, невыносимо скучно. Прошу тебя, останься.

— А как же человек, с которым я должен встретиться в «Орлеане»?

Художник рассмеялся. — Думаю, это легко уладить. Садись снова, Гарри. А ты, Дориан, поднимись на помост, не двигайся без нужды и не слушай лорда Генри. Он дурно влияет на всех своих друзей, кроме меня одного.

Дориан Грей взошёл на помост с видом юного греческого мученика и недовольно надул губы, глядя на лорда Генри. Тот уже успел ему понравиться. Он был совсем не похож на Бэзила. Как приятно они оттеняли друг друга! А какой прекрасный у него был голос! Помолчав немного, Дориан спросил: — Вы и вправду так дурно влияете на людей, лорд Генри? Так дурно, как говорит Бэзил?

— Хорошего влияния не бывает, мистер Грей. Всякое влияние безнравственно — безнравственно с научной точки зрения.

— Почему?

— Потому что влиять на человека — значит отдавать ему свою душу. Тогда он мыслит не своими мыслями и пылает не своими страстями. Его добродетели уже не принадлежат ему настоящему. Его грехи, если только грехи существуют, взяты взаймы. Он становится отголоском чужой музыки, актёром, играющим роль, написанную не для него. Цель жизни — развитие собственной личности. В полной мере осуществить свою природу — вот для чего каждый из нас явился на свет. Нынче люди боятся самих себя. Они забыли высший из всех долгов — долг перед собой. Конечно, они милосердны. Кормят голодных, одевают нищих. Но их собственные души голодают и ходят нагими. Наш род утратил мужество. Быть может, у нас его никогда и не было. Страх перед обществом, на котором держится нравственность, страх перед Богом, в котором кроется тайна религии, — вот две силы, что правят нами. И всё же...

— Поверни голову ещё немного вправо, Дориан, будь умницей, — сказал художник. Он был поглощён работой и заметил лишь, что на лице юноши появилось выражение, какого он прежде никогда не видел.

— И всё же, — продолжал лорд Генри негромким, певучим голосом и с тем изящным взмахом руки, который был ему свойствен ещё со времён Итона, — я верю: если бы хоть один человек прожил свою жизнь во всей её полноте, придал облик каждому чувству, выразил каждую мысль, воплотил каждую мечту, мир испытал бы такой новый прилив радости, что мы забыли бы все недуги средневековщины и вернулись к эллинскому идеалу — а может быть, и к чему-то ещё более прекрасному и богатому, чем этот идеал. Но даже храбрейший из нас боится самого себя. Дикарь калечит своё тело, а мы калечим свою жизнь самоотречением: в нём трагически живёт тот же обычай. За каждый отказ нам приходится расплачиваться. Всякий порыв, который мы стараемся задушить, таится в сознании и отравляет нас. Тело согрешит однажды — и с грехом покончено, ибо действие очищает. После него остаётся только память о наслаждении или роскошь сожаления. Единственный способ избавиться от искушения — уступить ему. Сопровитесь, и душу изведёт тоска по тому, что она сама себе запретила, желание того, что её чудовищные законы объявили чудовищным и недозволенным. Говорят, великие события мира происходят в человеческом мозгу. Но и великие грехи мира совершаются там, и только там. Вы, мистер Грей, даже вы — с вашей юностью, алой, как роза, и отрочеством, белым, как роза, — знали страсти, которые вас пугали, мысли, внушавшие вам ужас, грёзы наяву и во сне, от одного воспоминания о которых ваши щёки могли бы вспыхнуть стыдом...

— Перестаньте! — запинаясь, выговорил Дориан Грей. — Перестаньте! Вы сбиваете меня с толку. Я не знаю, что сказать. На ваши слова должен найтись ответ, но я не могу его найти. Не говорите. Дайте мне подумать. Или лучше — дайте мне попытаться ни о чём не думать.

Почти десять минут он стоял неподвижно, с приоткрытыми губами и странно сияющими глазами. Он смутно чувствовал: в нём действуют какие-то совсем новые силы. И всё же ему казалось, что они исходят из него самого. Несколько слов друга Бэзила — сказанных, без сомнения, случайно, но с нарочитым парадоксом — затронули тайную струну, которой прежде никто не касался. Теперь она дрожала, отзываясь на странные толчки.

Музыка уже волновала его так. Не раз она тревожила его душу. Но музыка была бессловесна. Она рождала в нас не новый мир, а иной хаос. Слова! Простые слова! Как они страшны! Как ясны, как живы, как жестоки! От них не укрыться. И какая тонкая магия в них заключена! Казалось, они способны облекать бесформенное в осязаемую форму и сами обладают мелодией, нежной, как звучание виолы или люти. Простые слова! Есть ли на свете что-нибудь реальнее слов?

Да, в детстве были вещи, которых он не понимал. Теперь он понял их. Вдруг жизнь заиграла для него огненными красками. Ему почудилось, будто всё это время он шёл сквозь пламя. Как же он не знал об этом прежде?

Лорд Генри наблюдал за ним со своей тонкой улыбкой. Он безошибочно знал, в какую минуту следует молчать. Дориан живо его заинтересовал. Лорд Генри дивился тому, как действовали его слова, и вспомнил книгу, прочитанную в шестнадцать лет. Она открыла ему многое, о чём он прежде не знал. Не переживает ли сейчас Дориан Грей нечто сходное? Он всего лишь пустил стрелу наудачу. Неужели она попала в цель? Как пленителен был этот юноша!

Холлуорд продолжал писать с присущей ему поразительной смелостью мазка. В этой смелости были подлинное изящество и безупречная тонкость, какие, по крайней мере в искусстве, рождаются только из силы. Наступившего молчания он не замечал.

— Бэзил, я устал стоять, — внезапно воскликнул Дориан Грей. — Мне нужно выйти и посидеть в саду. Здесь нечем дышать.

— Дорогой мой, прости. Когда я пишу, ни о чём другом думать не могу. Но ты ещё никогда так хорошо не позировал. Ты стоял совершенно неподвижно. И мне удалось поймать именно то, что я хотел: слегка разомкнутые губы и сияние глаз. Не знаю, что Гарри тебе наговорил, но благодаря ему выражение у тебя просто чудесное. Полагаю, он осыпал тебя комплиментами. Не верь ни единому его слову.

— Complimentов он мне уж точно не говорил. Возможно, поэтому я и не верю ничему из того, что он сказал.

— Вы ведь знаете, что верите каждому слову, — сказал лорд Генри, глядя на него мечтательными, томными глазами. — Я пойду с вами в сад. В мастерской ужасно жарко. Бэзил, нельзя ли подать нам чего-нибудь со льдом? Какой-нибудь напиток с клубникой.

— Конечно, Гарри. Позвони, пожалуйста. Когда придёт Паркер, я скажу ему, что вам подать. Мне ещё нужно поработать над фоном, так что я присоединюсь к вам позже. Только не задерживай Дориана надолго. Мне ещё никогда не писалось так хорошо, как сегодня. Это будет мой шедевр. Да он уже сейчас мой шедевр.

Лорд Генри вышел в сад и увидел Дориана Грея. Тот погрузил лицо в большие прохладные соцветия сирени и жадно вдыхал их аромат, словно пил вино. Лорд Генри подошёл и положил руку ему на плечо. — Вы совершенно правы, — тихо сказал он. — Душу исцеляют только чувства, а чувства — только душа.

Юноша вздрогнул и отстранился. Он вышел без шляпы; листья взъерошили его непокорные кудри и спутали золотые пряди. В глазах его стоял страх, какой бывает у человека,

которого внезапно разбудили. Тонко очерченные ноздри трепетали. Какая-то скрытая дрожь пробежала по его алым губам и не унималась.

— Да, — продолжал лорд Генри, — это одна из великих тайн жизни: исцелять душу чувствами, а чувства — душой. Вы удивительное создание. Вы знаете больше, чем думаете, и в то же время меньше, чем хотите знать.

Дориан Грей нахмурился и отвернулся. Высокий, изящный молодой человек, стоявший рядом, невольно ему нравился. Его смуглое лицо с романтическими чертами и усталым выражением вызывало любопытство. В его негромком, томном голосе было что-то неодолимо притягательное. Даже прохладные белые руки, похожие на цветы, обладали странным очарованием. Когда он говорил, они двигались словно в такт музыке и, казалось, вели собственную речь. Но Дориан боялся его и стыдился своего страха. Почему понадобился чужой человек, чтобы открыть Дориану его самого? С Бэзилем Холлуордом он был знаком уже несколько месяцев, но эта дружба ничуть его не изменила. И вдруг в его жизни появился человек, словно раскрывший перед ним тайну жизни. Да и чего, собственно, бояться? Он ведь не школьник и не девочка. Смешно пугаться.

— Пойдёмте посидим в тени, — сказал лорд Генри. — Паркер вынес напитки. Если вы ещё немного постоите на таком солнцепёке, вы совсем испортитесь и Бэзил больше никогда не станет писать ваш портрет. Вам ни в коем случае нельзя обгорать на солнце. Это вам не пойдёт.

— Да какая разница? — со смехом воскликнул Дориан Грей, садясь на скамью в конце сада.

— Для вас это должно значить всё, мистер Грей.

— Почему?

— Потому что вам досталась дивная молодость, а молодость — единственное, чем стоит обладать.

— Я этого не чувствую, лорд Генри.

— Сейчас — нет. Но однажды, когда вы состаритесь, покроетесь морщинами и станете безобразны, когда мысль выжжет морщины на вашем лбу, а страсть заклеит губы своим уродливым пламенем, вы это почувствуете — и как мучительно! Теперь вы очаровываете весь мир, куда бы ни пришли. Неужели так будет всегда?.. У вас поразительно красивое лицо, мистер Грей. Не хмурьтесь. Это правда. А красота — одна из форм гениальности; пожалуй, она даже выше гения, потому что не нуждается в объяснениях. Она принадлежит к великим явлениям мира, таким, как солнечный свет, весна или отражение в тёмной воде той серебряной раковины, которую мы зовём луной. Её право неоспоримо. Она царит по божественному праву и делает князьями тех, кому дана. Вы улыбаетесь? Ах, когда вы её утратите, вам станет не до улыбок... Иногда говорят, будто красота поверхностна. Пусть так, но уж мысль, по меньшей мере, ещё поверхностнее. Для меня красота — чудо из чудес. Только люди мелкие не судят по внешности. Подлинная тайна мира — в видимом, а не в невидимом... Да, мистер Грей, боги были к вам щедры. Но свои дары боги отнимают быстро. У вас есть лишь несколько лет, чтобы жить по-настоящему, совершенно, во всей полноте. Вместе с молодостью уйдёт ваша красота, и тогда вы вдруг обнаружите, что победы вам больше не суждены. Или же будете довольствоваться жалкими победами, которые память о прошлом сделает горше поражений. Каждый уходящий месяц приближает вас к чему-то страшному. Время завидует вам и воюет с вашими лилиями и розами. Кожа ваша пожелтеет, щёки впадут, взгляд потускнеет. Вы будете страдать ужасно... Ах, осознайте свою молодость, пока она при вас! Не расточайте золото своих дней, слушая скучных людей, стараясь исправить безнадежного неудачника или отдавая жизнь невеждам, людям заурядным и пошлым. Таковы болезненные стремления, ложные идеалы нашего века. Живите! Живите той удивительной жизнью, что заключена в вас! Не упускайте ничего. Не переставайте искать новых ощущений. Ничего не бойтесь... Новый гедонизм — вот чего жаждет наш век. Вы могли бы стать его зримым символом. С вашей индивидуаль-

ностью для вас нет невозможного. На какое-то время мир принадлежит вам... В ту минуту, когда мы встретились, я увидел, что вы совершенно не сознаёте, кто вы на самом деле и кем могли бы стать. Меня так пленило всё, что есть в вас, что я почувствовал: мне необходимо кое-что вам о вас рассказать. Подумать только, какая была бы трагедия, если бы вы растратили себя впустую! Ведь молодость длится так недолго — так недолго. Обычные горные цветы увядают, но расцветают вновь. В следующем июне бобовник будет так же жёлт, как сейчас. Через месяц на клематисе зажгутся лиловые звёзды, и год за годом зелёная ночь его листы будет хранить эти лиловые звёзды. А наша молодость не возвращается. Пульс радости, бьющийся в нас в двадцать лет, с годами замедляется. Руки и ноги слабеют, чувства угасают. Мы превращаемся в уродливых кукол. Нас преследуют воспоминания о страстях, которых мы слишком боялись, и о дивных соблазнах, поддаться которым нам не достало смелости. Молодость! Молодость! На свете нет ничего, кроме молодости!

Дориан Грей слушал, широко раскрыв глаза от изумления. Кисть сирени выпала у него из руки на гравий. Прилетела мохнатая пчела и с минуту жужжала над ней. Потом стала ползать по овальному шару мелких цветков, похожему на россыпь звёздочек. Он следил за ней с тем странным вниманием к пустякам, какое мы стараемся в себе пробудить, когда нас пугает что-то важное, когда нас волнует новое чувство, для которого не находится слов, или когда страшная мысль внезапно осаждает наш разум и требует сдачи. Через некоторое время пчела улетела. Он увидел, как она забралась в раструб выюнка цвета тирского пурпура. Цветок словно вздрогнул и мягко закачался из стороны в сторону.

Вдруг в дверях мастерской появился художник и отрывистыми жестами позвал их войти. Они переглянулись и улыбнулись.

— Я жду вас! — крикнул он. — Входите же. Свет сейчас безупречный, и напитки можете взять с собой.

Они поднялись и вместе неторопливо пошли по дорожке. Мимо них порхнули две зелёно-белые бабочки, а на грушевом дереве в углу сада запел дрозд.

— Вы рады, что познакомились со мной, мистер Грей, — сказал лорд Генри, глядя на него.

— Сейчас — рад. Интересно, всегда ли я буду этому рад?

— Всегда! Ужасное слово. Меня передёргивает всякий раз, когда я его слышу. Женщины так любят его произносить. Они губят всякий роман, пытаются продлить его навеки. К тому же слово это ничего не значит. Между прихотью и страстью на всю жизнь лишь одна разница: прихоть длится немного дольше.

Войдя в мастерскую, Дориан Грей положил ладонь на руку лорда Генри. — Тогда пусть наша дружба будет прихотью, — прошептал он и покраснел от собственной смелости. Затем взойшёл на помост и снова принял прежнюю позу.

Лорд Генри опустил на большое плетёное кресло и стал наблюдать за ним. Тишину нарушал лишь шорох кисти на холсте да изредка шаги Холлуорда, когда тот отходил посмотреть на работу издали. В косых лучах, лившихся сквозь открытую дверь, плясала золотистая пыль. Казалось, над всем застыл густой аромат роз.

Минут через пятнадцать Холлуорд перестал писать. Он долго смотрел на Дориана Грея, потом так же долго — на картину, хмурясь и покусывая кончик одной из своих огромных кистей. — Совсем готово! — воскликнул он наконец, наклонился и вывел своё имя длинными киноварными буквами в левом углу холста.

Лорд Генри подошёл и осмотрел картину. Это было, несомненно, замечательное произведение искусства; сходство тоже было поразительным.

— Дорогой мой, от всей души поздравляю тебя, — сказал он. — Это лучший портрет нашего времени. Мистер Грей, подойдите взглянуть на себя.

Юноша вздрогнул, словно очнулся от сна.

— Неужели уже готово? — пробормотал он, сходя с помоста.

— Совсем готово, — сказал художник. — И сегодня ты позировал великолепно. Я тебе чрезвычайно признателен.

— За это благодарить надо меня, — вмешался лорд Генри. — Не правда ли, мистер Грей?

Дориан не ответил. Он вяло прошёл перед картиной и повернулся к ней. Увидев портрет, он отступил на шаг, и щёки его на миг вспыхнули от удовольствия. В глазах засветилась радость, будто он впервые узнал себя. Он стоял неподвижно, изумлённый. Он смутно сознавал, что Холлуорд что-то ему говорит, но не улавливал смысла слов. Собственная красота открылась ему внезапно. Прежде он её не чувствовал. Похвалы Бэзила Холлуорда казались ему лишь милым преувеличением дружбы. Он слушал их, смеялся над ними и забывал. Они не меняли его натуры. Потом явился лорд Генри Уоттон со своей странной хвалой юности, со своим страшным предостережением о её недолговечности. Уже тогда слова его потрясли Дориана; теперь же, глядя на изображение собственной красоты, он вдруг постиг всю их правду. Да, настанет день, когда лицо его иссохнет и покроется морщинами, глаза потускнеют и утратят цвет, а стройная фигура сделается нескладной. Алый цвет уйдёт с губ, золото — из волос. Жизнь, которой предстоит сформировать его душу, изуродует его тело. Он станет страшным, безобразным и неуклюжим.

При этой мысли его пронзила боль, острая, как удар ножа, и каждое тончайшее волокно его существа содрогнулось. Глаза потемнели, отливая аметистом, и их заволокло слезами. Ему почудилось, будто ледяная рука легла ему на сердце.

— Тебе не нравится? — спросил наконец Холлуорд. Молчание юноши слегка задело его: он не понимал, что оно означало.

— Разумеется, нравится, — сказал лорд Генри. — Кому бы не понравилось? Это одно из величайших произведений современного искусства. Я отдам за него всё, что ты пожелаешь. Портрет должен быть моим.

— Он мне не принадлежит, Гарри.

— А кому же?

— Разумеется, Дориану, — ответил художник.

— Счастливец.

— Как это печально! — прошептал Дориан Грей, не отрывая глаз от своего портрета. — Как печально! Я состарюсь, стану уродливым и страшным. А этот портрет останется молодым навсегда. Он никогда не станет старше, чем в этот июньский день... Если бы всё было наоборот! Если бы я мог вечно оставаться молодым, а старел портрет! За это... за это я отдал бы всё! Да, нет на свете ничего, чего я не отдал бы! Я отдал бы за это душу!

— Вряд ли тебя устроил бы такой обмен, Бэзил, — засмеялся лорд Генри. — Твоему произведению пришлось бы несладко.

— Я бы решительно воспротивился, Гарри, — сказал Холлуорд.

Дориан Грей повернулся к нему. — Охотно верю, Бэзил. Искусство ты любишь больше друзей. Я для тебя значу не больше, чем позеленевшая бронзовая статуэтка. Пожалуй, даже меньше.

Художник смотрел на него в изумлении. Дориану совсем не свойственно было так говорить. Что случилось? Казалось, он всерьёз рассердился. Лицо его покраснело, щёки горели.

— Да, — продолжал он, — я значу для вас меньше, чем твой Гермес из слоновой кости или серебряный фавн. Они будут тебе нравиться всегда. А я — долго ли? Пока не появится первая морщина, полагаю. Теперь я знаю: стоит человеку утратить свою красоту, какой бы она ни была, и он теряет всё. Это твой портрет научил меня. Лорд Генри Уоттон совершенно прав. Только молодостью и стоит дорожить. Когда я замечу, что старею, я убью себя.

Холлуорд побледнел и схватил его за руку. — Дориан! Дориан! — воскликнул он. — Не говори так. У меня никогда не было друга, подобного тебе, и никогда больше не будет. Неужели ты ревнуешь к вещам? Ты, кто прекраснее любой из них!

— Я завидую всему, чья красота не увядает. Завидую портрету, который ты написал с меня. Почему он сохранит то, что я должен утратить? Каждое мгновение что-то отнимает у меня и что-то прибавляет ему. Ах, если бы всё было наоборот! Если бы портрет менялся, а я мог навсегда остаться таким, как сейчас! Зачем ты его написал? Когда-нибудь он станет надо мной насмехаться — жестоко насмехаться! — Горячие слёзы наполнили его глаза; он вырвал руку и, бросившись на диван, уткнулся лицом в подушки, словно молился.

— Это твоих рук дело, Гарри, — с горечью сказал художник.

Лорд Генри пожал плечами. — Это и есть настоящий Дориан Грей. Вот и всё.

— Нет, это не он.

— Если не он, при чём же тут я?

— Тебе следовало уйти, когда я тебя просил, — пробормотал Холлуорд.

— Я остался, когда ты меня попросил, — ответил лорд Генри.

— Гарри, я не могу ссориться сразу с двумя лучшими друзьями. Но вы оба заставили меня возненавидеть лучшую работу, какую я когда-либо создал, и я её уничтожу. Что она такое, в конце концов? Холст и краски. Я не позволю ей встать между нами троими и испортить жизнь каждому из нас.

Дориан Грей приподнял с подушки голову с золотистыми волосами. Бледный, с заплаканными глазами, он смотрел, как Бэзил подошёл к столу из сосновых досок под высоким окном, закрытым занавесями. Что он там делал? Его пальцы блуждали среди разбросанных оловянных тюбиков и сухих кистей, что-то искали. Да, длинный мастихин с тонким лезвием из гибкой стали. Наконец Бэзил нашёл его. Он собирался распороть холст.

Сдавленно всхлипнув, юноша вскочил с дивана, бросился к Холлуорду, вырвал мастихин из его руки и швырнул в другой конец мастерской. — Не надо, Бэзил, не надо! — закричал он. — Это было бы убийством!

— Рад, что ты наконец оценил мою работу, Дориан, — холодно сказал художник, оправившись от изумления. — Я и не думал, что ты когда-нибудь её оценишь.

— Оценил? Да я влюблён в неё, Бэзил. Она — часть меня самого. Я это чувствую.

— Что ж, как только ты высохнешь, я покрою тебя лаком, вставлю в раму и отправлю домой. А там делай с собой что хочешь. — Он пересёк комнату и позвонил, чтобы подали чай. — Ты, конечно, выпьешь чаю, Дориан? И ты, Гарри? Или такие простые удовольствия не по твоему вкусу?

— Я обожаю простые удовольствия, — сказал лорд Генри. — Это последнее прибежище сложных натур. А вот сцены я люблю только в театре. До чего же вы оба нелепы! Интересно, кто определил человека как разумное животное? Трудно было дать более поспешное определение. Человек бывает разным, но разумным его не назовёшь. И, в сущности, я этому рад. Только лучше бы вы не ссорились из-за картины. Отдай её мне, Бэзил. Этому глупому мальчишке она на самом деле не нужна, а мне очень нужна.

— Если ты отдашь её кому-нибудь, кроме меня, Бэзил, я тебе никогда не прощу! — воскликнул Дориан Грей. — И я не позволяю называть себя глупым мальчишкой.

— Ты же знаешь, что картина твоя, Дориан. Я подарил её тебе ещё до того, как она появилась на свет.

— А вы знаете, мистер Грей, что вели себя немного глупо и что на самом деле вовсе не против, когда вам напоминают, как вы молоды.

— Сегодня утром я был бы решительно против, лорд Генри.

— Ах, сегодня утром! С тех пор вы уже успели пожить.

В дверь постучали. Дворецкий внёс поднос, полный чайных принадлежностей, и поставил его на маленький японский столик. Зазвенели чашки и блюдца, зашипел ребристый сосуд для кипятка георгианской эпохи. Паж принёс две шарообразные фарфоровые чаши. Дориан Грей подошёл и стал разливать чай. Оба мужчины не спеша приблизились к столу и заглянули под крышки.

— Поедем сегодня вечером в театр, — предложил лорд Генри. — Где-нибудь наверняка что-нибудь идёт. Я обещал поужинать в клубе «Уайтс», но всего лишь со старым приятелем. Пошлю ему телеграмму: скажу, что заболел или что не могу прийти из-за приглашения, полученного позже. По-моему, выйдет недурная отговорка. Она удивит его своей откровенностью.

— Какая скука — надевать фрак, — пробормотал Холлуорд. — А наденешь — и он просто отвратителен.

— Да, — мечтательно отозвался лорд Генри, — одежда девятнадцатого века отвратительна. Такая мрачная, такая унылая. Грех — единственная настоящая краска, ещё оставшаяся в современной жизни.

— Гарри, ты не должен говорить подобные вещи при Дориане.

— При котором из них? При том, что разливает нам чай, или при том, что на картине?

— Ни при том, ни при другом.

— Я бы с удовольствием поехал с вами в театр, лорд Генри, — сказал юноша.

— Значит, поедете. И ты тоже поедешь, Бэзил, правда?

— Не могу, честное слово. Да и не хочется. У меня много работы.

— Тогда мы с вами поедem вдвоём, мистер Грей.

— Я буду ужасно рад.

Художник закусил губу и с чашкой в руке подошёл к портрету. — А я останусь с настоящим Дорианом, — печально сказал он.

— Так это настоящий Дориан? — воскликнул живой Дориан, подходя к художнику. — Неужели я и вправду такой?

— Да, именно такой.

— Как удивительно, Бэзил!

— По крайней мере, внешне ты на него похож. Но он никогда не изменится, — вздохнул Холлуорд. — И это уже кое-что.

— Сколько шума люди поднимают из-за верности! — воскликнул лорд Генри. — Даже в любви это всего лишь вопрос физиологии. От нашей воли верность никак не зависит. Молодые люди хотят быть верными, но не бывают; старики хотят изменять, но не могут. Вот и всё, что можно об этом сказать.

— Не ездь сегодня в театр, Дориан, — сказал Холлуорд. — Останься поужинать со мной.

— Не могу, Бэзил.

— Почему?

— Потому что я обещал лорду Генри Уоттону поехать с ним.

— Он не станет лучше к тебе относиться за то, что ты держишь слово. Сам-то он своих обещаний никогда не исполняет. Прошу тебя, не ездь.

Дориан Грей засмеялся и покачал головой.

— Я тебя умоляю.

Юноша заколебался и взглянул на лорда Генри. Тот наблюдал за ними от чайного стола с весёлой улыбкой.

— Я должен ехать, Бэзил, — ответил Дориан.

— Что ж, хорошо, — сказал Холлуорд. Он подошёл к столику и поставил чашку на поднос. — Уже довольно поздно, а вам ещё переодеваться, так что лучше не терять времени. До свидания, Гарри. До свидания, Дориан. Приходи ко мне поскорее. Приходи завтра.

— Непременно.

— Не забудешь?

— Нет, конечно! — воскликнул Дориан.

— И ещё... Гарри!

— Да, Бэзил?

— Помни, о чём я просил тебя сегодня утром в саду.

— Я забыл.

— Я тебе доверяю.

— Хотел бы я и сам себе доверять, — сказал лорд Генри со смехом. — Пойдёмте, мистер Грей, мой двухколёсный кэб ждёт снаружи. Я довезу вас до дома. До свидания, Бэзил. День прошёл на редкость интересно.

Когда за ними закрылась дверь, художник бросился на диван, и на лице его проступила боль.

Глава третья

На следующий день в половине первого лорд Генри Уоттон неторопливо отправился с Кёрзон-стрит в Олбани навестить своего дядю, лорда Фермора. Это был добродушный, хотя и несколько грубоватый старый холостяк. За пределами светского круга его считали эгоистом, поскольку не получали от него особой пользы; в свете же его почитали щедрым человеком, поскольку он кормил тех, кто его забавлял. Отец лорда Фермора служил английским послом в Мадриде, когда Изабелла была ещё молода, а о Приме никто и не помышлял. Но однажды, досадуя на то, что ему не предложили пост посла в Париже, он по прихоти оставил дипломатическую службу. Он полагал, что эта должность принадлежит ему по праву рождения, праздности, безупречного английского языка его донесений и неумеренной любви к удовольствиям. Сын служил при нём секретарём и подал в отставку вместе с ним, что в ту пору сочли некоторой глупостью. Несколько месяцев спустя он унаследовал титул и всерьёз принялся изучать великое аристократическое искусство решительно ничего не делать. У него было два больших дома в городе, но он предпочитал жить в съёмных комнатах: так было меньше хлопот. Ел он большей частью в клубе. Управлению своими угольными шахтами в центральных графствах он уделял некоторое внимание, оправдывая это пятно трудолюбия тем, что уголь даёт джентльмену возможность соблюсти приличия и топить собственный камин дровами. В политике он был тори — кроме тех времён, когда тори стояли у власти: тогда он без обиняков бранил их шайкой радикалов. Лакей, который помыкал им, считал его героем; большинство родственников, которыми помыкал он сам, его боялись. Породить такого человека могла только Англия, и он неизменно твердил, что страна катится ко всем чертям. Его принципы давно вышли из моды, но в защиту его предрассудков можно было сказать немало.

Войдя, лорд Генри застал дядю в грубой охотничьей куртке: тот курил короткую сигару и ворчал над «Таймс». — Ну, Гарри, — сказал старик, — что это подняло тебя в такую рань? Я думал, вы, щёголи, раньше двух не встаёте, а раньше пяти никому не показывается.

— Исключительно родственная любовь, уверяю вас, дядя Джордж. Я хочу кое-что от вас получить.

— Денег, полагаю, — сказал лорд Фермор, поморщившись. — Ну, садись и выкладывай. Нынешняя молодёжь воображает, будто деньги — это всё.

— Да, — пробормотал лорд Генри, поправляя цветок в петлице, — а с возрастом уже знает это наверняка. Но мне не нужны деньги. В деньгах нуждаются лишь те, кто оплачивает свои счета, дядя Джордж, а я своих никогда не оплачиваю. Кредит — капитал младшего сына, и жить на него удивительно приятно. К тому же я всегда покупаю у тех же торговцев, что и Дартмур, поэтому они меня не тревожат. Мне нужны сведения: разумеется, не полезные, а бесполезные.

— Ну, всё, что есть в английских правительственных «Синих книгах», я тебе расскажу, Гарри, хотя в наши дни их составители пишут уйму вздора. Когда я служил по дипломатической части, дела обстояли гораздо лучше. А теперь, говорят, туда принимают по экзамену. Чего после этого ждать? Экзамены, сударь мой, — сплошное надувательство от начала до конца. Если человек джентльмен, он и так знает вполне достаточно; если же он не джентльмен, любые знания пойдут ему только во вред.

— О мистере Дориане Грее в «Синих книгах» не пишут, дядя Джордж, — лениво произнёс лорд Генри.

— Мистер Дориан Грей? Кто это? — спросил лорд Фермор, нахмутив густые белые брови.

— Это я и пришёл узнать, дядя Джордж. Вернее, кто он такой, я знаю. Он внук покойного лорда Келсо. Его мать была из рода Деверё — леди Маргарет Деверё. Расскажите мне о ней.

Какой она была? За кого вышла замуж? Вы на своём веку знали едва ли не всех, значит, могли знать и её. Мистер Грей сейчас очень меня занимает. Я познакомился с ним совсем недавно.

— Внук Келсо! — повторил старик. — Внук Келсо!.. Ну конечно... Его мать я знал близко. Кажется, даже присутствовал при её крещении. Маргарет Деверё была необыкновенной красавицей и свела всех мужчин с ума, сбежав с безденежным молодым человеком — никому не известным, сударь мой, младшим офицером пехотного полка или кем-то в этом роде. Да, именно так. Помню всё, словно это было вчера. Через несколько месяцев после свадьбы беднягу убили на дуэли в городе Спа. История была скверная. Говорили, Келсо подговаривал какого-то проходимца, бельгийского головореза, публично оскорбить его зятя — заплатил ему за это, сударь мой, заплатил, — а тот нанизал противника на шпагу, словно голубя на вертел. Дело замаяли, но, ей-богу, после этого Келсо некоторое время приходилось есть свою отбивную в клубе в одиночестве. Говорили, он увёз дочь домой, и она больше ни разу с ним не заговорила. Да, скверное было дело. Девушка тоже умерла — не прошло и года. Значит, у неё остался сын? Я об этом забыл. Что он за юноша? Если пошёл в мать, должен быть красив.

— Он очень красив, — подтвердил лорд Генри.

— Надеюсь, он попадёт в хорошие руки, — продолжал старик. — Если Келсо обошёлся с ним как следует, его должно ждать целое состояние. У его матери тоже были деньги. Всё имение Селби досталось ей от деда. Дед Маргарет ненавидел Келсо, считал подлой собакой. И был прав. Как-то Келсо приехал в Мадрид, когда я там служил. Ей-богу, мне было за него стыдно. Королева всё спрашивала меня про английского аристократа, который вечно спорит с извозчиками из-за платы за проезд. Из этого раздули целую историю. Я целый месяц не смел показаться при дворе. Надеюсь, со своим внуком он обращался лучше, чем с извозчиками.

— Не знаю, — ответил лорд Генри. — Думаю, юноша будет богат. Совершеннолетия он ещё не достиг. Селби принадлежит ему, это я знаю: он сам мне сказал. А его мать... она была очень красива?

— Маргарет Деверё была одним из прелестнейших созданий, каких я когда-либо видел, Гарри. Что заставило её поступить так, как она поступила, я никогда не мог понять. Она могла выйти за кого угодно. Карлингтон по ней с ума сходил. Но она была романтична. Все женщины в этом семействе были такими. Мужчины там никуда не годились, зато женщины, ей-богу, были изумительные. Карлингтон стоял перед ней на коленях. Сам мне рассказывал. Она смеялась над ним, а ведь тогда в Лондоне не было девушки, которая не добивалась бы его. Кстати, Гарри, раз уж речь зашла о нелепых браках, что за чепуху твой отец рассказывает о желании Дартмура жениться на американке? Чем ему не угодили англичанки?

— Сейчас жениться на американках довольно модно, дядя Джордж.

— Я поставлю на англичанок против всего мира, Гарри, — сказал лорд Фермор, ударив кулаком по столу.

— А ставки принимают на американок.

— Говорят, их ненадолго хватает, — пробормотал дядя.

— Долгая помолвка их изнуряет, зато на скачках с препятствиями они превосходны. Преграды берут с лёту. Не думаю, что у Дартмура есть шансы.

— Кто у неё родные? — проворчал старик. — Они у неё вообще есть?

Лорд Генри покачал головой. — Американские девушки умеют скрывать родителей так же ловко, как англичанки — своё прошлое, — сказал он, поднимаясь.

— Её родные, небось, занимаются переработкой свинины?

— Ради Дартмура надеюсь, что так, дядя Джордж. Говорят, в Америке переработка свинины — самое прибыльное занятие после политики.

— Она хорошенькая?

— Она держится так, словно она красавица. Большинство американок держатся именно так. В этом и состоит тайна их обаяния.

— Почему эти американки не сидят у себя в стране? Они ведь без конца твердят, что там рай для женщин.

— Так и есть. Потому-то им, подобно Еве, не терпится его покинуть, — сказал лорд Генри. — До свидания, дядя Джордж. Если я задержусь, то опоздаю к ленчу. Спасибо за нужные мне сведения. О новых друзьях я всегда люблю знать всё, а о старых — ничего.

— Куда ты идёшь на ленч, Гарри?

— У тёти Агаты. Я сам себя туда пригласил, а заодно и мистера Грея. Он её новый протеже.

— Гм! Скажи своей тёте Агате, Гарри, чтобы она больше не донимала меня просьбами о пожертвованиях. Сыт я ими по горло. Эта добрая женщина, видите ли, считает, что мне больше нечего делать, кроме как выписывать чеки на её вздорные затеи.

— Хорошо, дядя Джордж, передам, но толку не будет. У филантропов пропадает всякое чувство человечности. Это их отличительная черта.

Старый джентльмен одобрительно проворчал и позвонил слуге. Лорд Генри прошёл под низкой аркадой, вышел на Берлингтон-стрит и направился к Беркли-сквер.

Вот какова была история родителей Дориана Грея. Дядя рассказал её грубовато, но намёк на странную, почти современную любовную историю всё же взволновал Генри. Прекрасная женщина поставила на карту всё ради безрассудной страсти. Несколько бурных недель счастья оборвались из-за чудовищного, предательского преступления. Месяцы немом страдания — и ребёнок, рождённый в муках. Смерть унесла мать, оставив мальчика в одиночестве, под властью старика, не знавшего любви. Да, такое прошлое было любопытно. Оно оттеняло юношу, словно довершало его образ. За каждой изысканной вещью скрывается трагедия. Миры должны терзаться в родовых муках, чтобы распустился самый скромный цветок... А как очарователен Дориан был вчера за ужином! Он сидел напротив Генри в клубе, широко раскрыв глаза от изумления и чуть разомкнув губы от испуганной радости. Красный свет свечных абажуров придавал ещё более нежный розовый оттенок изумлению, пробуждавшемуся на его лице. Говорить с ним было всё равно что играть на дивной скрипке. Он отзывался на каждое прикосновение смычка, на каждый его трепет... Как неотразимо увлекает власть над чужой душой! Ничто другое с ней не сравнится. Перенести свою душу в прекрасное создание и дать ей там ненадолго задержаться; услышать собственные мысли, возвращённые тебе с музыкой страсти и юности; передать другому свой нрав, словно тонкую жидкость или диковинный аромат, — в этом была подлинная радость. Быть может, самая полная из тех, что ещё доступны нам в наш ограниченный и пошлый век, грубо плотский в удовольствиях и грубо заурядный в стремлениях... И сам юноша, с которым Генри так странно довелось встретиться в мастерской Бэзила, был удивительной натурой. Или, во всяком случае, его можно было таким сделать. Он обладал грацией, светлой чистотой отрочества и красотой, которую сохранил для нас древнегреческий мрамор. С ним можно было сделать что угодно: превратить его в титана или в игрушку. Как жаль, что такой красоте суждено увянуть!.. А Бэзил? Как он интересен с точки зрения психологии! Новая манера в искусстве, новый взгляд на жизнь — всё это подсказано одним лишь зримым присутствием человека, который ни о чём не подозревал. Безмолвный дух, обитавший в сумрачном лесу и незримо бродивший по открытому полю, вдруг явился, словно бесстрашная дриада: ведь в душе того, кто искал её, пробудилось чудесное зрение, которому одному и открываются чудеса. Простые очертания и узоры вещей будто становились тоньше и обретали символический смысл, словно были узорами иной, более совершенной формы, а сами лишь воплощали её тень. Как всё это странно! Он припоминал нечто подобное в истории. Не Платон ли, художник мысли, первым исследовал это? Не Буонарроти ли высек это в цветном мраморе череды сонетов? Но в наше столетие такое казалось странным... Да, он попытается стать для Дориана Грея тем, чем юноша, сам того не ведая, стал для художника, создавшего его чудесный портрет. Он постарается подчинить Дориана своей воле — да, в сущности, уже

наполовину подчинил. Он завладеет этой дивной душой. Было что-то завораживающее в этом сыне любви и смерти.

Вдруг он остановился и взглянул на дома. Оказалось, он уже порядком миновал дом тётки. Улыбнувшись своим мыслям, он повернул назад. Когда Генри вошёл в мрачноватый холл, дворецкий сообщил, что гости уже сели за ленч. Генри отдал одному из лакеев шляпу и трость и прошёл в столовую.

— Как всегда, опоздал, Гарри, — воскликнула тётка, покачав головой.

Он без труда придумал оправдание, занял свободное место рядом с ней и оглядел собравшихся. Дориан застенчиво поклонился ему с другого конца стола; щёки юноши тронул румянец радости. Напротив сидела герцогиня Харли, женщина добродушная, приветливая и любимая всеми знакомыми. Она обладала теми внушительными архитектурными пропорциями, которые у женщин без герцогского титула нынешние историки называют полнотой. Справа от неё сидел сэр Томас Бёрдон, член парламента от радикалов. В общественной жизни он следовал за своим вождём, а в частной — за лучшими поварами: согласно известному разумному правилу, обедал с тори, а мыслил с либералами. Место слева от герцогини занимал мистер Эрскин из Тредли, пожилой джентльмен большого обаяния и высокой культуры. Правда, он приобрёл скверную привычку молчать: как однажды объяснил леди Агате, до тридцати лет он успел сказать всё, что ему было нужно. Рядом с самим Генри сидела миссис Ванделер, одна из старейших подруг его тётки, сушая святая. Но одевалась она так безвкусно, что напоминала плохо переплетённый сборник церковных гимнов. К счастью для Генри, по другую сторону от неё сидел лорд Фодел — весьма умная посредственность средних лет, лысый, как заявление министра в палате общин. С ним она беседовала с той напряжённой серьёзностью, в которую, как однажды заметил сам лорд Фодел, впадают все по-настоящему хорошие люди. Это их единственная непростительная ошибка, и никому из них не удастся вполне её избежать.

— Мы говорим о бедном Дартмуре, лорд Генри, — сказала герцогиня, приветливо кивнув ему через стол. — Как вы думаете, он и правда женится на этой очаровательной молодой особе?

— Полагаю, она уже решила сама сделать ему предложение, герцогиня.

— Какой ужас! — воскликнула леди Агата. — Право, кто-нибудь должен вмешаться.

— Мне сообщили из самого надёжного источника, что её отец держит в Америке магазин сухих товаров, — произнёс сэр Томас Бёрдон с высокомерным видом.

— А мой дядя уже предположил, что он занимается переработкой свинины, сэр Томас.

— Сухих товаров? А что такое американские сухие товары? — спросила герцогиня, в изумлении вскинув руки и особенно выделив голосом слово «такое».

— Американские романы, — ответил лорд Генри, накладывая себе перепёлку.

Герцогиня растерянно посмотрела на него.

— Не слушайте его, дорогая, — шепнула леди Агата. — Он никогда не имеет в виду того, что говорит.

— Когда была открыта Америка, — начал член парламента от радикалов и принялся излагать скучнейшие сведения. Подобно всем, кто старается исчерпать тему, он исчерпал терпение слушателей. Герцогиня вздохнула и воспользовалась своим правом перебить его. — Ах, лучше бы её вовсе не открывали! — воскликнула она. — У наших девушек теперь просто нет шансов. Это ужасно несправедливо.

— Возможно, Америку до сих пор и не открыли, — сказал мистер Эрскин. — Я бы сказал, что её всего лишь разоблачили.

— Но я ведь видела некоторых её жителей, — неопределённо возразила герцогиня. — Должна признаться, большинство из них чрезвычайно хороши собой. И одеваются прекрасно. Все платья они покупают в Париже. Хотела бы я иметь возможность поступать так же.

— Говорят, хорошие американцы после смерти попадают в Париж, — хихикнул сэр Томас, располагавший целым гардеробом обносок Юмора.

— В самом деле? А куда после смерти попадают плохие американцы? — осведомилась герцогиня.

— В Америку, — пробормотал лорд Генри.

Сэр Томас нахмурился. — Боюсь, ваш племянник предубеждён против этой великой страны, — сказал он леди Агате. — Я объездил её вдоль и поперёк в вагонах, предоставленных директорами железных дорог. В подобных вопросах они чрезвычайно любезны. Уверяю вас, поездка туда весьма поучительна.

— Неужели ради просвещения нам непременно нужно увидеть Чикаго? — жалобно спросил мистер Эрскин. — Боюсь, я не вынесу дороги.

Сэр Томас махнул рукой. — У мистера Эрскина из Тредли весь мир стоит на полках. Мы, люди практические, предпочитаем видеть вещи, а не читать о них. Американцы — чрезвычайно интересный народ. Они совершенно разумны. Полагаю, это их отличительная черта. Да, мистер Эрскин, совершенно разумный народ. Уверяю вас, американцам чужд всякий вздор.

— Какой ужас! — воскликнул лорд Генри. — Грубую силу я ещё могу вынести, но грубый разум совершенно нестерпим. Пользоваться им нечестно. Это удар ниже пояса интеллекта.

— Я вас не понимаю, — сказал сэр Томас, слегка покраснев.

— А я вас понимаю, лорд Генри, — с улыбкой пробормотал мистер Эрскин.

— Парадоксы, конечно, по-своему хороши... — возразил баронет.

— Разве это был парадокс? — спросил мистер Эрскин. — Мне так не казалось. Хотя, может быть, и был. Что ж, путь парадоксов — это путь истины. Чтобы испытать действительность, нужно увидеть её на натянутом канате. Когда истины становятся акробатами, о них можно судить.

— Боже мой! — сказала леди Агата. — Как же вы, мужчины, любите спорить! Я никогда не могу понять, о чём вы говорите. Ах, Гарри, я на вас очень сердита. Зачем вы уговариваете нашего милого мистера Дориана Грея оставить Ист-Энд? Уверяю вас, он был бы там неоценим. Они полюбили бы его игру.

— А я хочу, чтобы он играл для меня, — с улыбкой воскликнул лорд Генри. Он посмотрел вдоль стола и встретил живой ответный взгляд.

— Но жители Уайтчепела так несчастны, — продолжала леди Агата.

— Я способен сочувствовать всему, кроме страдания, — сказал лорд Генри, пожав плечами. — Страданию я сочувствовать не могу. Оно слишком безобразно, слишком ужасно, слишком тягостно. В нынешнем сочувствии чужой боли есть что-то глубоко болезненное. Сочувствовать следует краскам, красоте, радости жизни. А о её язвах чем меньше говорить, тем лучше.

— И всё же Ист-Энд — проблема чрезвычайной важности, — заметил сэр Томас, серьёзно покачав головой.

— Несомненно, — ответил молодой лорд. — Это проблема рабства, а мы пытаемся решить её, развлекая рабов.

Политик пристально посмотрел на него. — Какие же перемены вы предлагаете? — спросил он.

Лорд Генри рассмеялся. — В Англии я не желаю менять ничего, кроме погоды, — ответил он. — Меня вполне устраивает философское созерцание. Но девятнадцатый век разорился, слишком щедро расходуя сострадание. Я предложил бы обратиться к науке: пусть она наставит нас на верный путь. Достоинство чувств в том, что они сбивают нас с пути, а достоинство науки — в том, что она бесстрастна.

— Но на нас лежит такая серьёзная ответственность, — робко заметила миссис Ванделёр.

— Ужасно серьёзная, — подхватила леди Агата.

Лорд Генри взглянул на мистера Эрскина. — Человечество относится к себе слишком серьёзно. Вот первородный грех мира. Если бы пещерный человек умел смеяться, история сложилась бы иначе.

— Вы меня прямо утешили, — пропела герцогиня. — Навещаю вашу милую тётушку, я всегда чувствовала себя немного виноватой: Ист-Энд меня совершенно не интересует. Теперь я смогу смотреть ей в глаза и не краснеть.

— Румянец вам очень к лицу, герцогиня, — заметил лорд Генри.

— Только в молодости, — ответила она. — Когда краснеет пожилая женщина вроде меня, это дурной знак. Ах, лорд Генри, расскажите мне, как снова стать молодой.

Он на мгновение задумался. — Можете ли вы припомнить какую-нибудь большую ошибку своей юности, герцогиня? — спросил он, глядя на неё через стол.

— Боюсь, их было очень много, — воскликнула она.

— Тогда повторите их, — серьёзно произнёс он. — Чтобы вернуть молодость, достаточно снова совершить прежние глупости.

— Восхитительная теория! — воскликнула герцогиня. — Непременно испытаю её на деле.

— Опасная теория! — процедил сэр Томас сквозь сжатые губы. Леди Агата покачала головой, но не смогла удержаться от улыбки. Мистер Эрскин слушал.

— Да, — продолжал лорд Генри, — это одна из великих тайн жизни. В наши дни большинство людей умирает от здравого смысла, который подкрадывается к ним исподволь, и слишком поздно обнаруживает: единственное, о чём никогда не жалеешь, — собственные ошибки.

За столом раздался смех.

Он играл этой мыслью, всё смелее отдаваясь прихоти: подбрасывал её и преображал, отпускал на волю и вновь ловил, заставлял переливаться красками воображения и дарил ей крылья парадокса. По мере того как он говорил, хвала безрассудству вознеслась до философии. А сама философия помолодела, подхватила безумную мелодию наслаждения и заплясала, словно вакханка, по холмам жизни, насмехаясь над медлительным Силеном за его трезвость. На ней, казалось, было платье с винными пятнами, а голову венчал плющ. Факты разбегались перед ней, как испуганные лесные зверьки. Её белые ступни топтали виноград в огромной давяльне, у которой сидит мудрый Омар. Бурлящий сок то поднимался вокруг её обнажённых ног волнами лиловых пузырей, то полз красной пеной по чёрным, мокрым, покатым стенкам чана. Это была необыкновенная импровизация. Лорд Генри чувствовал на себе взгляд Дориана Грея. Среди слушателей был человек, чей склад души ему хотелось пленить, и сознание этого словно придавало остроты его уму и яркости воображению. Он был блистателен, причудлив, безответственен. Он зачаровал слушателей, заставил их забыть о себе, и они со смехом шли за звуками его свирели. Дориан Грей не сводил с него глаз и сидел словно околдованный: улыбки одна за другой скользили по его губам, а изумление в темневших глазах становилось всё серьёзнее.

Наконец в комнату вошла действительность — в ливрее, какую носили в ту эпоху. Слуга сообщил герцогине, что её экипаж ждёт. Она в притворном отчаянии заломила руки. — Какая досада! — воскликнула она. — Мне пора. Я должна заехать за мужем в клуб и отвезти его на какое-то нелепое собрание в залах Уиллиса, где он будет председательствовать. Если я опоздаю, он непременно придёт в ярость, а в этой шляпке я никак не могу выдержать сцену. Она слишком хрупка. Одно резкое слово — и шляпка погибла. Нет, мне пора, дорогая Агата. До свидания, лорд Генри. Вы совершенно очаровательны и ужасно развращаете людей. Право, я даже не знаю, что сказать о ваших взглядах. Приходите как-нибудь к нам обедать. Во вторник? Вы свободны во вторник?

— Ради вас, герцогиня, я отменил бы любую встречу, — сказал лорд Генри с поклоном.

— Ах, как это мило с вашей стороны и как дурно! — воскликнула она. — Смотрите же, приходите. — Она выплыла из комнаты; за ней последовали леди Агата и остальные дамы.

Когда лорд Генри снова сел, мистер Эрскин обошёл стол, придвинул к нему стул и положил ладонь ему на руку.

— Вы растрчиваете на разговоры целые книги, — сказал он. — Отчего бы вам не написать одну?

— Я слишком люблю читать книги, мистер Эрскин, чтобы захотеть их писать. Роман, правда, я бы написал с удовольствием — прекрасный, как персидский ковёр, и столь же далёкий от действительности. Но в Англии нет читателей ни для чего, кроме газет, букварей и энциклопедий. Среди всех народов мира англичане меньше прочих чувствуют красоту литературы.

— Боюсь, вы правы, — ответил мистер Эрскин. — Когда-то и у меня были литературные устремления, но я давно от них отказался. А теперь, мой дорогой молодой друг, если позволите мне так вас назвать, могу я спросить: вы и вправду имели в виду всё, что говорили нам за ленчем?

— Я уже совсем забыл, что говорил, — с улыбкой ответил лорд Генри. — Неужели всё было так скверно?

— Весьма скверно. Более того, я считаю вас чрезвычайно опасным человеком, и, если с нашей доброй герцогиней что-нибудь случится, мы все возложим главную вину на вас. Но мне хотелось бы поговорить с вами о жизни. Поколение, в котором я родился, было невыносимо скучным. Когда-нибудь, если вам наскучит Лондон, приезжайте ко мне в Тредли и изложите свою философию наслаждения за бокалом превосходного бургундского, которое мне посчастливилось раздобыть.

— С радостью. Побывать в Тредли было бы для меня большой честью. Там безупречный хозяин и безупречная библиотека.

— Вы пополните её, — ответил пожилой джентльмен с учтивым поклоном. — А теперь мне пора попрощаться с вашей превосходной тётушкой. Меня ждут в клубе «Атенеум». Настал час, когда мы там спим.

— Все до единого, мистер Эрскин?

— Сорок человек в сорока креслах. Готовимся к английской Академии словесности.

Лорд Генри рассмеялся и встал. — А я отправляюсь в парк, — сказал он.

Когда он проходил к двери, Дориан Грей коснулся его руки. — Возьмите меня с собой, — тихо сказал он.

— Но я думал, вы обещали навестить Бэзила Холлуорда, — ответил лорд Генри.

— Я лучше пойду с вами. Да, я чувствую, что должен пойти с вами. Пожалуйста, позвольте. И обещайте всё время со мной разговаривать. Никто не умеет говорить так замечательно, как вы.

— Ах, на сегодня я уже наговорился вдоволь, — сказал лорд Генри с улыбкой. — Теперь мне хочется лишь смотреть на жизнь. Если желаете, можете смотреть на неё вместе со мной.

Глава четвёртая

Однажды днём, месяц спустя, Дориан Грей полулежал в роскошном кресле маленькой библиотеки лорда Генри в Мейфэре. Комната была по-своему очаровательна: высокие дубовые панели оливкового цвета, кремовый фриз и потолок с рельефной лепниной, кирпично-красный войлочный ковёр, на котором лежали шёлковые персидские коврики с длинной бахромой. На крошечном столике из атласного дерева стояла статуэтка работы Клодиона. Рядом лежал экземпляр «Ста новелл» в переплёте, который Кловис Эв изготовил для Маргариты Валуа. Переплёт украшали золочёные маргаритки — цветы, избранные королевой для своей эмблемы. На каминной полке стояли большие синие фарфоровые вазы и попугайные тюльпаны, а сквозь маленькие оконные стёкла в свинцовых переплётах струился абрикосовый свет летнего лондонского дня.

Лорд Генри ещё не пришёл. Он из принципа всегда опаздывал: по его убеждению, точность крадёт время. Дориан с довольно мрачным видом рассеянно перелистывал богато иллюстрированное издание «Манон Леско», которое нашёл в книжном шкафу. Чинное, однообразное тиканье часов эпохи Людовика Четырнадцатого раздражало его. Раз или два он подумывал уйти.

Наконец он услышал за дверью шаги. Дверь отворилась, и он пробормотал: — Как поздно ты пришёл, Гарри!

— Боюсь, это не Гарри, мистер Грей, — ответил пронзительный голос.

Он быстро обернулся и встал. — Простите. Я подумал...

— Вы подумали, что это мой муж. А это всего лишь его жена. Позвольте мне самой представиться. Я хорошо знаю вас по фотографиям. Кажется, у моего мужа их семнадцать.

— Только не семнадцать, леди Генри?

— Ну, значит, восемнадцать. А на днях я видела вас с ним в опере. — Говоря это, она нервно засмеялась и взглянула на Дориана своими рассеянными глазами цвета незабудок. Это была странная женщина: её платья всегда выглядели так, словно их придумывали в ярости, а надевали посреди бури. Она обыкновенно бывала в кого-нибудь влюблена и, поскольку ей никогда не отвечали взаимностью, сохранила все свои иллюзии. Она старалась выглядеть живописно, но выходила лишь неряшливой. Звали её Викторией; ходить в церковь было её настоящей манией.

— Кажется, это было на «Лоэнгрине», леди Генри?

— Да, на милом «Лоэнгрине». Музыку Вагнера я люблю больше всякой другой. Она такая громкая, что можно всё время разговаривать и никто не услышит, что именно ты говоришь. Большое преимущество, не правда ли, мистер Грей?

С её тонких губ снова сорвался нервный, отрывистый смешок, а пальцы принялись играть длинным ножом для разрезания бумаги из черепахового панциря.

Дориан улыбнулся и покачал головой: — Боюсь, я с вами не согласен, леди Генри. Когда звучит музыка, я никогда не разговариваю — по крайней мере, если музыка хорошая. А если плохая, наш долг — заглушить её беседой.

— Ах, это ведь один из взглядов Гарри, правда, мистер Грей? Я всегда узнаю о его взглядах от друзей. Иначе мне о них и не узнать. Но вы не думайте, будто я не люблю хорошую музыку. Я её обожаю, только боюсь. От неё я становлюсь чересчур романтической. Я прямо-таки поклонялась пианистам — порой сразу двум, как уверяет Гарри. Не знаю, что в них такого. Может быть, дело в том, что они иностранцы. Ведь они все иностранцы, разве нет? Даже те, кто родился в Англии, со временем становятся иностранцами, не правда ли? Как это ловко с их стороны и как лестно для искусства! Оно от этого становится по-настоящему космополитичным, верно? Вы ни разу не бывали на моих вечерах, мистер Грей? Непременно приходите.

Орхидеи мне не по карману, зато на иностранцев я денег не жалею. С ними комнаты выглядят так живописно. А вот и Гарри! Гарри, я пришла тебя найти, хотела о чём-то спросить — забыла о чём — и застала здесь мистера Грея. Мы так приятно побеседовали о музыке. Наши взгляды совершенно совпадают. Нет, кажется, они совершенно различны. Но с ним было так приятно беседовать. Я очень рада, что увидела его.

— Я очарован, дорогая, совершенно очарован, — сказал лорд Генри. Он приподнял тёмные брови, изогнутые полумесяцем, и с весёлой улыбкой взглянул на них обоих. — Прости, что опоздал, Дориан. Я зашёл на Уорддор-стрит присмотреть старинную парчу и несколько часов торговался из-за неё. Нынче люди знают цену всему, но не видят ценности ни в чём.

— Боюсь, мне пора, — воскликнула леди Генри и своим нелепым, внезапным смешком нарушила неловкое молчание. — Я обещала прокатиться с герцогиней. До свидания, мистер Грей. До свидания, Гарри. Ты, вероятно, сегодня обедаешь не дома? Я тоже. Может быть, увидимся у леди Торнбери.

— Вполне возможно, дорогая, — сказал лорд Генри, закрывая за ней дверь. Она выпорхнула из комнаты, похожая на райскую птицу, которая всю ночь провела под дождём, и оставила после себя слабый запах франжипани. Затем он закурил сигарету и бросился на диван.

— Никогда не женись на женщине с волосами цвета соломы, Дориан, — сказал он после нескольких затяжек.

— Почему, Гарри?

— Потому что они так сентиментальны.

— Но мне нравятся сентиментальные люди.

— Вообще никогда не женись, Дориан. Мужчины женятся от усталости, женщины выходят замуж из любопытства; и тех и других ждёт разочарование.

— Едва ли я женюсь, Гарри. Я слишком влюблён. Это один из твоих афоризмов. Я следую ему, как и всему, что ты говоришь.

— В кого же ты влюблён? — спросил лорд Генри после паузы.

— В актрису, — ответил Дориан Грей, покраснев.

Лорд Генри пожал плечами: — Довольно заурядный дебют.

— Ты не сказал бы этого, если бы увидел её, Гарри.

— Кто она?

— Её зовут Сибила Вейн.

— Никогда о ней не слышал.

— О ней пока никто не слышал. Но однажды услышат. Она гениальна.

— Милый мой мальчик, гениальных женщин не бывает. Женщины — пол декоративный. Им никогда нечего сказать, зато говорят они это прелестно. Женщины воплощают торжество материи над разумом, а мужчины — торжество разума над нравственностью.

— Гарри, как ты можешь такое говорить?

— Дорогой Дориан, это чистая правда. Я как раз изучаю женщин и потому должен знать. Предмет оказался не таким сложным, как я думал. В сущности, я обнаружил лишь две разновидности женщин: невзрачные и разукрашенные. Невзрачные очень полезны. Если хочешь приобрести репутацию порядочного человека, достаточно проводить одну из них к ужину. Женщины второй разновидности очень привлекательны. Правда, они совершают одну ошибку: красятся, чтобы казаться моложе. Наши бабушки красились, чтобы говорить блестяще. Прежде румяна и остроумие шли рука об руку. Теперь с этим покончено. Если женщина выглядит на десять лет моложе собственной дочери, она совершенно довольна. Что до беседы, в Лондоне есть только пять женщин, с которыми стоит разговаривать, и двух из них нельзя принимать в приличном обществе. Впрочем, расскажи мне о своём гении. Давно ты её знаешь?

— Ах, Гарри, твои взгляды меня пугают.

— Не обращай внимания. Давно ты её знаешь?

— Около трёх недель.

— И где ты её встретил?

— Я расскажу тебе, Гарри, только прошу: отнесись к этому с пониманием. В конце концов, ничего этого не случилось бы, если бы я не встретил тебя. Ты разжёл во мне безумное желание узнать о жизни всё. Несколько дней после нашего знакомства мне казалось, будто в жилах у меня что-то пульсирует. Когда я сидел без дела в парке или бродил по Пикадилли, я вглядывался в каждого прохожего и с исступлённым любопытством гадал, какой жизнью он живёт. Одни меня завораживали. Другие внушали ужас. В воздухе таился изысканный яд. Я жаждал новых ощущений... И вот однажды вечером, часов в семь, я решил отправиться на поиски приключения. Я чувствовал: наш чудовищный серый Лондон с его несметным множеством людей, жалкими грешниками и великолепными грехами — это твои слова — непременно что-нибудь для меня припас. Чего я только не воображал! Одна опасность уже доставляла мне наслаждение. Я вспомнил, что ты сказал мне в тот удивительный вечер, когда мы впервые обедали вместе: поиски красоты — вот подлинная тайна жизни. Я не знал, чего ожидать, но вышел из дому и пошёл на восток; вскоре я заблудился в лабиринте грязных улиц и мрачных площадей, где не росло ни травинки. Около половины девятого я проходил мимо нелепого маленького театра с ярко пылавшими газовыми рожками и кричащими афишами. У входа стоял отвратительный еврей в самом поразительном жилете, какой мне доводилось видеть, и курил скверную сигару. У него были сальные локоны, а посреди грязной сорочки сверкал огромный бриллиант. «Не желаете ложу, милорд?» — спросил он, заметив меня, и снял шляпу с пышной подобострастностью. Было в нём что-то такое, Гарри, что меня позабавило. До того чудовищен он был. Знаю, ты будешь смеяться, но я и впрямь вошёл и заплатил целую гинею за ложу у самой сцены. Я и теперь не могу понять, зачем это сделал. А ведь если бы не вошёл... Дорогой Гарри, если бы не вошёл, я упустил бы величайшее романтическое приключение своей жизни. Вижу, ты смеёшься. Как это скверно с твоей стороны!

— Я не смеюсь, Дориан. Во всяком случае, не над тобой. Но не называй это величайшей любовной историей своей жизни. Скажи — первой. Тебя всегда будут любить, а ты всегда будешь влюблён в самую любовь. *Великая страсть* — привилегия тех, кому нечем заняться. Вот единственная польза, которую приносят стране праздные классы. Не бойся. Тебя ждёт ещё много прекрасного. Это только начало.

— Неужели ты считаешь меня таким поверхностным? — сердито воскликнул Дориан Грей.

— Нет. Я считаю, что натура у тебя глубокая.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Мой милый мальчик, поверхностны как раз те, кто за всю жизнь любит лишь однажды. То, что они называют преданностью и верностью, я назвал бы либо оцепенением от привычки, либо недостатком воображения. Верность в жизни чувств — то же, что последовательность в жизни ума: простое признание своей несостоятельности. Верность! Надо будет когда-нибудь её разобрать. Тут замешана страсть к собственности. Сколько вещей мы выбросили бы, если бы не боялись, что их подберёт кто-нибудь другой. Но я не хочу тебя прерывать. Продолжай.

— Итак, я очутился в отвратительной маленькой ложе. Передо мной висел аляповато расписанный занавес. Я выглянул из-за портьеры и оглядел зал. Он был безвкусно украшен: повсюду амур и рога изобилия, словно на свадебном торте третьего разряда. На галёрке и дешёвых местах внизу народу было довольно много, зато два ряда потёртых кресел партера пустовали, а в бельэтаже — кажется, так они его называли — почти никого не было. Женщины разносили апельсины и имбирное пиво; орехи грызли в ужасающих количествах.

— Должно быть, точь-в-точь как в славные времена британской сцены.

— Пожалуй, точь-в-точь. И ужасно уныло. Я уже начал гадать, что же мне теперь делать, когда мне попала на глаза афиша. Как ты думаешь, что давали, Гарри?

— Должно быть, «Мальчика-идиота» или «Немую, но невинную». Кажется, наши отцы любили такие пьесы. Чем дольше я живу, Дориан, тем яснее понимаю: то, что вполне устраивало наших отцов, никак не может устроить нас. В искусстве, как и в политике, *деды всегда ошибаются*.

— Эта пьеса, Гарри, могла устроить и нас. Давали «Ромео и Джульетту». Признаюсь, мысль увидеть Шекспира в такой жалкой дыре меня раздосадовала. И всё же мне стало любопытно. Я решил по крайней мере дожидаться первого акта. Оркестр был кошмарный. Им руководил молодой еврей за расстроенным роялем. Я чуть было не ушёл, но наконец занавес поднялся и началось представление. Ромео оказался грузным пожилым господином с бровями, подведёнными жжёной пробкой, хриплым трагическим голосом и фигурой пивной бочки. Меркуцио был почти ничуть не лучше. Его играл комик низкого жанра: он вставлял собственные шутки и держался с публикой на дешёвых местах по-приятельски. Оба были столь же нелепы, как декорации, словно взятые из провинциального балагана. Но Джульетта! Гарри, представь себе девушку, которой едва ли исполнилось семнадцать: маленькое лицо, похожее на цветок, небольшая голова, словно у греческой статуи, тёмно-каштановые косы, уложенные кольцами, глаза — лиловые колодцы страсти, губы — лепестки розы. Прекраснее её я никого не видел. Ты как-то сказал мне, что трогательные сцены оставляют тебя равнодушным, а красота, одна лишь красота, способна вызвать у тебя слёзы. Так вот, Гарри, я едва различал её сквозь слёзы, застилавшие мне глаза. А её голос — такого голоса я никогда не слышал. Сначала он звучал совсем тихо: глубокие, мягкие ноты словно по одной ложились на слух. Потом голос окреп и зазвучал, как флейта или далёкий гобой. В сцене в саду в нём слышался весь трепетный восторг соловьиного пения перед рассветом. А позднее бывали мгновения, когда он обретал неистовую страсть скрипок. Ты знаешь, как может взволновать голос. Твой голос и голос Сибилы Вейн я не забуду никогда. Стоит мне закрыть глаза — и я слышу их оба; каждый говорит мне что-то своё. Я не знаю, за кем идти. Как мне её не любить? Гарри, я люблю её. Она для меня — вся жизнь. Вечер за вечером я хожу смотреть, как она играет. В один вечер она Розалинда, в другой — Имоджена. Я видел, как она умирала во мраке итальянской гробницы, высасывая яд с губ возлюбленного. Я видел, как она бродила по Арденскому лесу, переодетая хорошеньким юношей — в чулках, камзоле и изящной шапочке. Она сходила с ума, являлась к королю, отягощённому виной, и вручала ему руту, чтобы он носил её, и горькие травы — чтобы отведал. Она была невинна, а чёрные руки ревности сжимали её тонкое, как тростинка, горло. Я видел её во всех эпохах, во всех костюмах. Обычные женщины не пробуждают воображения. Их возможности ограничены их веком. Никакие чары их не преображают. Их мысли так же легко разгадать, как фасон их шляпок. Всегда знаешь, где их найти. Ни в одной нет тайны. По утрам они катаются в парке, после полудня болтают за чаем. У них шаблонная улыбка и светские манеры. В них всё ясно с первого взгляда. А актриса! Как непохожа на них актриса! Гарри, почему ты не сказал мне, что любить стоит только актрису?

— Потому что я любил слишком многих актрис, Дориан.

— Ах да, ужасных женщин с крашеными волосами и размалёванными лицами.

— Не отзывайся дурно о крашеных волосах и размалёванных лицах. Порой в них бывает необыкновенная прелесть, — сказал лорд Генри.

— Теперь я жалею, что рассказал тебе о Сибиле Вейн.

— Ты не мог не рассказать мне, Дориан. Всю жизнь ты будешь рассказывать мне обо всём, что делаешь.

— Да, Гарри, думаю, это правда. Я не могу не рассказывать тебе обо всём. Ты странно на меня влияешь. Если бы я когда-нибудь совершил преступление, я пришёл бы признаться тебе. Ты бы меня понял.

— Такие, как ты, своевольные солнечные лучи жизни, преступлений не совершают, Дориан. Но за лестные слова всё равно благодарю. А теперь скажи мне... Передай спички, будь добр... Спасибо. Какие у тебя на самом деле отношения с Сибиллой Вейн?

Дориан Грей вскочил; щёки его вспыхнули, глаза горели: — Гарри! Сибилла Вейн священна!

— Только к священному и стоит прикасаться, Дориан, — сказал лорд Генри, и в его голосе прозвучала странная трогательность. — Но отчего ты рассердился? Полагаю, когда-нибудь она станет твоей. Влюблённый всегда начинает с того, что обманывает себя, а кончает тем, что обманывает других. Это и называют романом. Во всяком случае, ты ведь с ней знаком?

— Разумеется, знаком. В тот первый вечер, когда я был в театре, после представления ко мне в ложу явился этот ужасный старый еврей и предложил провести меня за кулисы и представить ей. Я рассердился и сказал, что Джульетта умерла сотни лет назад и её тело покоится в мраморной гробнице в Вероне. Судя по тому, как ошеломлённо он на меня уставился, он решил, что я выпил лишнего шампанского или что-нибудь в этом роде.

— Ничуть не удивлён.

— Потом он спросил, пишу ли я для какой-нибудь газеты. Я ответил, что даже не читаю газет. Это, кажется, страшно его разочаровало, и он доверительно сообщил мне, что все театральные критики сговорились против него и каждого из них можно купить.

— Возможно, тут он был совершенно прав. Хотя, если судить по их виду, дорого они обойтись не могут.

— Ну, ему, видно, показалось, что они ему не по карману, — рассмеялся Дориан. — Но к тому времени в театре уже гасили огни, и мне пришлось уйти. Он ещё хотел угостить меня сигарами, которые очень расхваливал. Я отказался. На следующий вечер я, разумеется, снова пришёл туда. Увидев меня, он низко поклонился и заверил, что я щедрейший покровитель искусств. Отвратительный был грубиян, хотя Шекспира любил с необыкновенной страстью. Однажды он с гордостью сказал мне, что все пять его банкротств произошли исключительно по вине «Барда» — он непременно называл Шекспира именно так. Похоже, он считал это особым отличием.

— Это и было отличием, дорогой Дориан, и немалым. Большинство людей разоряется, слишком много вкладывая в прозу жизни. Разориться ради поэзии — честь. Но когда же ты впервые заговорил с мисс Сибиллой Вейн?

— На третий вечер. Она играла Розалинду. Я не удержался и пошёл к служебному входу. Я бросил ей цветы, и она посмотрела на меня — по крайней мере, мне так показалось. Старый еврей не отставал: он во что бы то ни стало хотел провести меня за кулисы, и я согласился. Странно, что мне не хотелось с ней знакомиться, правда?

— Нет, по-моему, ничего странного.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.